

SHORTLISTED  
FOR 2019  
BOOKER  
INTERNATIONAL  
PRIZE

Один из лучших романов  
последних лет. **Марио Варгас Льюса**

ХУАН ГАБРИЭЛЬ ВАСКЕС  
**НЕТЛЕННЫЙ  
ПРАХ**



Global Books. Книги без границ

Хуан Васкес

**Нетленный прах**

«ЭКСМО»

2015

УДК 821.134.2-31(861)

ББК 84(7Кол)-44

**Васкес Х. Г.**

Нетленный прах / Х. Г. Васкес — «Эксмо», 2015 — (Global Books. Книги без границ)

ISBN 978-5-04-113699-4

Молодой писатель ненадолго возвращается в родную Колумбию из Европы, но отпуск оказывается длиннее запланированного, когда его беременная жена попадает в больницу. Пытаясь отвлечься от тревоги, Хуан бродит по знакомым улицам, но с каждым шагом Богота будто затягивает его в дебри своей кровавой истории, заставляя все глубже погружаться в тайны убийств, определивших судьбу Колумбии на много лет вперед. Итак, согласно официальной версии, 9 апреля 1948 года случайный прохожий застрелил Хорхе Элесьера Гайтана, лидера либеральной партии, юриста и непревзойденного оратора. Но был ли выстрел, чьим эхом стали годы кровопролития, действительно случайным?

УДК 821.134.2-31(861)

ББК 84(7Кол)-44

ISBN 978-5-04-113699-4

© Васкес Х. Г., 2015

© Эксмо, 2015

## Содержание

I. Человек, который говорил о роковых датах	6
II. Останки мужей достославных	33
III. Раненый зверь	66
Конец ознакомительного фрагмента.	75

# Хуан Габриэль Васкес

## Нетленный прах

*Посвящается*

*Леонардо Гаравито, вручившему мне этот прах,  
Марии Линч и Пилар Рейес,  
показавшим, что вылепить из него.*

*...Останки благороднейшего мужа.*

*У. Шекспир  
«Юлий Цезарь»*

Juan Gabriel Vasquez

LA FORMA DE LAS RUINAS

Copyright © Juan Gabriel Vasquez, 2015

Published by arrangement with Casanovas Lynch Literary Agency

© Fotografía página 45: «Cadáver de Gaitán en la clínica Central»:

Archivo fotográfico de Sady González (Bogotá 1938–1949).

Biblioteca Luis Ángel Arango.



Перевод с испанского *Александра Богдановского*

© Богдановский А., перевод на русский язык, 2021

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2021

## I. Человек, который говорил о роковых датах

Последний раз я видел Карлоса Карбальо, когда он, со скованными за спиной руками, втянув голову в плечи, неуклюже влезал в полицейский фургон, а бегущая строка на экране сообщала о причинах ареста – покушение на кражу суконного костюма, принадлежавшего одному давно покойному политику. Эти мимолетные кадры по чистой случайности попались мне на глаза в выпуске вечерних новостей, между назойливыми заклипаниями рекламы и спортивной хроникой, и я еще подумал, что из многих тысяч телезрителей, разделивших со мной этот момент, я один, не кривя душой, могу сказать, что нисколько не удивился. Действие происходило в доме Хорхе Эльсера Гайтана, ныне превращенном в музей, где каждый год полчища туристов желают вступить в краткий и неполноценно-заместительный контакт с самым знаменитым политическим преступлением в истории Колумбии. В этом костюме Гайтан был 9 апреля 1948 года, в тот день, когда Хуан Роа Сьерра, молодой человек, испытывавший смутное влечение к нацизму, флиртовавший с сектами розенкрейцеров и временами разговаривавший с Девой Марией, дождался его у выхода из резиденции и среди бела дня, при всем честном народе, запрудившем эту столичную улицу, с нескольких шагов четырежды выстрелил в него. Пули продырявили пиджак и жилет: и главным образом ради того, чтобы взглянуть на эти темные пустые кружочки, приходят в музей посетители. Карлос Карбальо, как можно предположить, был одним из них.

Произошло это во второй вторник апреля 2014 года. Судя по всему, Карбальо явился в музей около одиннадцати и несколько часов кряду то кружил по дому, как дервиш в трансе, то стоял, склонив голову набок, перед томами уголовного права, то смотрел документальный ролик, запечатлевший горящие трамваи и неистовую толпу, размахивающую мачете: эти кадры крутили целый день беспрерывно. Дождавшись, когда уйдет последняя группа посетителей – подростки в школьной форме, – он поднялся на второй этаж, где в застекленной витрине вниманию публики представлен был костюм, надетый Гайтаном в день своей гибели, и несколько раз ударил в толстое стекло кастетом. Ухватил плечо темно-синего пиджака – но больше ничего сделать не успел: прибежавший на гром и звон охранник направил на Карбальо пистолет. Злоумышленник только тогда заметил, что порезался осколками, и начал, как бродячий пес, лизать костяшки пальцев. Впрочем, он не выглядел растерянным или испуганным. Молоденькая телеведущая в белой блузке и шотландской юбке высказалась по этому поводу так:

– У него был такой вид, словно его застигли за расписыванием стены.

На следующее утро все газеты упомянули о неудавшемся ограблении. И столь же дружно, сколь и неискренне, удивлялись, что Гайтан и спустя шестьдесят шесть лет продолжает вызывать столь сильные чувства, а иные бесчисленное количество раз сравнивали его гибель с убийством Кеннеди – в минувшем году исполнилось ровно полвека этому событию, но его завораживающий эффект не ослабел ни на йоту. И, как если бы об этом нужно было напоминать, все говорили о том, какие непредсказуемые последствия породило преступное деяние – народные протесты перевернули город вверх дном, рассаженные на крышах снайперы стреляли беспорядочно и бессмысленно, и страна на несколько лет оказалась в состоянии войны. Одни и те же сведения передавались повсюду, с добавлением таких или сяких оттенков, с бóльшим или меньшим нагнетанием страстей; иногда они сопровождались фотоснимками, на которых остервенелая толпа, только что линчевавшая убийцу, волочит его полуголоое тело по мостовой Седьмой карьеры<sup>1</sup> к президентскому дворцу, однако нигде, ни в одной газете, нельзя было найти пусть хоть самого диковинного и нелогичного объяснения истинных причин того, почему нормальный вроде бы человек решил проникнуть в охраняемое помещение и силой присвоить

---

<sup>1</sup> Улица или проспект, идущая с севера на юг перпендикулярно калье.

простреленную одежду покойной знаменитости. Никто не задал этот вопрос, и Карлос Карбальо постепенно стал изглаживаться из нашей запрессованной памяти. Колумбийцы, ошеломленные повседневным насилием, от напора которого не успевали даже пасть духом, дали этому безобидному человеку исчезнуть, как тень. Никто больше не думал о нем.

О нем-то – хотя не только о нем – я и собираюсь рассказать. Не могу утверждать, что хорошо знал его, но была между нами определенная степень близости, доступная лишь тем, кто когда-то пытался друг друга надуть. Тем не менее, принимаясь за это повествование (а оно, как можно предвидеть, выйдет одновременно и пространным и неполным), я должен буду сначала упомянуть о человеке, который нас познакомил, ибо все случившееся после обретет смысл лишь в том случае, если описать, при каких обстоятельствах вошел в мою жизнь Франсиско Бенавидес. Вчера, шагая по тем местам в центре колумбийской столицы, где происходила часть событий, о которых я намереваюсь поведать, и стараясь в очередной раз удостовериться, что ничего не упустил в этой мучительной реконструкции, я вслух спрашиваю себя, как же это вышло, что мне стало известно такое, чего лучше было бы не знать: как же так получилось, что я столько времени думаю об этих мертвецах, живу среди них, разговариваю с ними, выслушиваю их жалобы и в свой черед жалуюсь, что ничем не могу облегчить их страдания. И диву даюсь, что все началось с нескольких слов, которые вскользь произнес доктор Бенавидес, когда приглашал меня к себе. В тот миг я счел, что соглашаюсь уделить ему сколько-то времени потому лишь, что однажды, когда мне пришлось туго, он-то своего для меня не пожалел, то есть мой визит будет проявлением ответной любезности, одним из пустяков, переполняющих наше бытие. Я не мог предвидеть, до какой же степени ошибался тогда, ибо случившееся в тот вечер запустило некий ужасный механизм, и, быть может, остановить его под силу только этой книге – книге, написанной во искупление злодеяний, которые я хоть и не совершил, но унаследовал.

Франсиско Бенавидес, один из самых известных колумбийских хирургов, большой любитель односолодового виски и ненасытный книголюб, не забывавший, впрочем, подчеркивать, что предпочтение отдает истории подлинной, а не выдуманной, прочитал мою книгу – скорее выдержав характер, чем получив удовольствие – потому лишь, что его чувствительную душу трогало творчество пациентов. Я, строго говоря, не принадлежал к их числу, хотя первая наша встреча и произошла именно по медицинскому поводу. Как-то вечером, в 1996 году, спустя несколько недель после моего переезда в Париж, я бился над расшифровкой одного эссе Жоржа Перека, когда вдруг обнаружил у себя под кожей на нижней челюсти какой-то странный желвак, похожий на шарик, какими любят играть дети. В последующие недели желвак вырос в размерах, однако я был так сосредоточен на переменах в моей жизни, так увлеченно постигал законы и обычаи нового для себя города, ища свое место в нем, что не обратил на это должного внимания. Однако прошло еще несколько дней – и лимфоузел воспалился до такой степени, что меня перекосило: на улице я ловил жалостливые взгляды, а моя коллега стала при встречах от меня шарахаться, опасаясь подхватить неведомую заразу. Начались обследования, но целый легион парижских врачей не в силах оказался поставить верный диагноз, а один из пользовавшихся меня – имя его я даже вспоминать не желаю – дерзнул заподозрить у меня лимфому. Тогда родные и обратились с вопросом, возможно ли такое, к Бенавидесу. Тот, хоть и не был по специальности онкологом, но в последние годы занимался неизлечимыми болезнями – частным порядком, на свой страх и риск и без какого-либо вознаграждения. И вот, хотя с его стороны безответственно было ставить диагноз пациенту, находящемуся по другую сторону океана, и тем более – в эпоху, когда пересылка фотографий по телефону и камеры, подключенные к компьютерам, еще не вошли в обиход, Бенавидес не пожалел на меня ни времени, ни знаний, ни интуиции, а его трансатлантическая помощь оказалась бесценной. «Будь это то, что у вас ищут, – сказал он мне по телефону, – давно бы уже нашли». Заковыристая логика этой фразы

была сродни надувному спасательному кругу: утопающий хватается за него, не спрашивая, нет ли в нем дырки.

Через несколько недель (время для меня тогда сменилось безвременьем, ибо я старался сжиться с весьма определенным ощущением того, что моя двадцатитрехлетняя жизнь подходит к концу, но был так оглушен этой перспективой, что даже не мог по-настоящему испугаться или затосковать) терапевт, с которым я случайно познакомился в Бельгии, активист движения «Врачи без границ», только что вернувшийся из афганского ада, моментально поставил диагноз – редкая форма ганглиозного туберкулеза: в Европе он давно исчез, но в странах «третьего мира» (он, в отличие от меня, употребил это выражение без кавычек) еще встречается. В Льеже меня госпитализировали – заточили в больничную темницу, делали со мной что-то такое, от чего, казалось, кровь кипела, потом под наркозом взрезали меня ниже челюсти справа и взяли кусочек на анализ, а неделю спустя лаборатория подтвердила все, что новоприбывший доктор сказал, не прибегая к таким дорогостоящим исследованиям. Еще девять месяцев я принимал тройные дозы антибиотиков, окрашивавших мочу в ядовито-оранжевый цвет; опухоль постепенно спадала, покуда однажды утром я не почувствовал, что, как сказал поэт, слегка увлажнена подушка, и понял – что-то прорвалось. После этого лицо мое мало-помалу обрело прежнее очертания и вообще все стало, как было (не считая двух шрамов, из которых один был почти незаметен, а другой – хирургический – очень даже заметен), и я смог, наконец, оставить эту историю в прошлом, ибо предать ее забвению мне за все эти годы так и не удалось, потому что вышеупомянутые шрамы мне о ней напоминали. Не покидало меня и чувство, что я перед доктором Бенавидесом в неоплатном долгу. Через девять лет мы впервые с ним увиделись, но и тогда я не сумел поблагодарить его так, как он заслуживал. И, быть может, поэтому он с такой легкостью вошел в мою жизнь.

А встреча наша произошла случайно в кафетерии клиники «Санта-Фе». Мы с женой провели там две недели и из кожи вон лезли, чтобы как можно скорее покончить с неприятностью, заставившей нас продлить наше пребывание в Боготе. Прилетели мы туда в начале августа, назавтра после Дня независимости, имея намерение провести летние каникулы с нашими родителями и вернуться в Барселону, когда настанет время рожать. Шла двадцать четвертая неделя беременности, протекавшей совершенно нормально, чему мы неустанно радовались, поскольку знали, что вынашивание близнецов по определению входит в категорию высокого риска. Однако всякая нормальность исчезла утром воскресенья, когда я повел жену, промаяв-шуюся всю ночь от странных болей и общего недомогания, к доктору Рикардо Руэде, специалисту по различным патологиям беременности, который консультировал нас с самого начала. Сделав УЗИ, доктор сообщил нам кое-что новенькое:

– Вы отправляйтесь домой и привезите одежду, – сказал он мне. – Супруга ваша остается здесь до особого распоряжения.

Он объяснил нам ситуацию тоном и стилем, какие в ходу у тех, кто в переполненном кинотеатре объявляет о пожаре – надо довести до сведения публики всю серьезность ситуации, но сделать это так, чтобы люди не затоптали друг друга в давке. Подробно описал понятие «цервикальной недостаточности», выяснил, бывают ли у М. судороги, и наконец сообщил, что надо затормозить необратимый процесс, начавшийся без нашего ведома, и действовать без промедления. Затем – сообщив о возгорании, попытался не допустить паники – дал понять, что преждевременные роды неизбежны и что от того, сколько времени сумеем мы выиграть в столь неблагоприятной ситуации, зависит, выживут ли мои дочери. Иными словами, мы вступили в гонку с календарем и усвоили, что в случае нашего проигрыша риск переходит в категорию смертельного. И с этой минуты каждое принятое решение имело целью отсрочить наступление родов. Так что сентябрь М. встретила на первом этаже клиники, в двухнедельном заточении на строжайшем постельном режиме, ежедневно подвергаясь процедурам, которые испытывали наше мужество, наши нервы и нашу стойкость.

Однообразное больничное существование днем строилось вокруг инъекций кортизона, призванных укрепить и развить легкие моих нерожденных дочерей, анализов крови, столь частых, что у жены на предплечьях скоро в буквальном смысле не осталось живого места, мучительных ультразвуковых исследований, длившихся порой до двух часов и определявших состояние мозга, позвоночника и сердец, которые бились учащенно и всегда вразнобой. Ночная рутина была не менее беспокойной. То и дело входили сестры, собирали данные, задавали вопросы, и от этого рваного сна, добавившегося к нескончаемому стрессу, мы оба пребывали в постоянном раздражении. У М. начались судороги, и, чтобы унять их частоту или интенсивность – этого я так и не узнал, – ей стали давать препарат, от которого, как нам объяснили, ее бросало в сильный жар, и я по ее просьбе настезь распахивал окно палаты, отчего меня била дрожь: рассветы у нас в Боготе весьма прохладные. Иногда, разбуженный приходом сестры или холодом, я бродил по безлюдной в этот час клинике: присаживался на кожаные диваны в комнатах для ожидания и, если там горел свет, прочитывал несколько страниц «Лолиты», с обложки которой наблюдал за мной Джереми Айронс, или слонялся по темным коридорам – по ночам половину неоновых ламп выключали, – шагая из палаты в отделение новорожденных, а оттуда – в приемную хирургической амбулатории. И во время этих ночных прогулок по белым коридорам старался вспомнить все, что говорили мне врачи, и представить себе, какие опасности ожидали бы младенцев, вздумай они появиться на свет в этот миг; подсчитывал, какой вес уже набрали плоды за последние дни, и сколько еще времени нужно, чтобы появился минимум, необходимый для самостоятельного существования, и впадал в растерянность от того, что мое благополучие свелось к этому навязчивому подсчету граммов. Я старался, впрочем, не слишком удаляться от палаты и не расставался с телефоном, держа его не в кармане, а в руке, из опасений ненароком пропустить звонок. И постоянно поглядывал на него, проверяя, есть ли покрытие сети, устойчив ли сигнал, чтобы, не дай бог, мои дочери не родились без меня всего лишь из-за отсутствия четырех линий на маленьком сером небосводе ЖК-экрана.

Вот во время одной из таких ночных прогулок я и познакомился с доктором Бенавидесом, а вернее – он познакомил меня с собой. Я вяло крутил ложечкой во второй порции кофе с молоком, сидя в глубине круглосуточного больничного кафетерия подальше от группы практикантов, отдохавших в перерыве ночного дежурства (которое в моем городе никогда не бывает спокойным, потому что жертв крупных и мелких насильственных действий подвозят бесперебойно); в моей книге Лолита и Гумберт Гумберт, приводя географию в движение, заполняя парковки слезами и незаконной любовью, уже начали странствовать по Америке, из мотеля в мотель. Тут ко мне подошел какой-то человек, представился и без лишних слов спросил, во-первых, помню ли я его и, во-вторых, чем кончилась история с моими лимфоузлами. Прежде чем я успел ответить, он уселся напротив, обеими руками и так крепко, словно боялся, что отнимут, держа свою чашку – да не то одноразовое пластиковое убожество, которое выдавали нам всем, как в лагере беженцев, а настоящую, основательную чашку темно-синего фаянса с логотипом какого-то университета, безнадежно пытавшимся высунуться наружу из-за маленьких ладоней и раздвинутых пальцев.

– А что вы здесь делаете в такой час? – спросил он.

Я дал ему краткий отчет – угроза преждевременных родов, такая-то неделя беременности, прогноз. Но тут же понял, что он не горит желанием беседовать на эту тему, а потому сам поспешил спросить:

– А вы?

– Пациента навещал.

– А что у него?

– У него невероятные страдания, – жестко ответил он. – Вот пришел взглянуть, что можно сделать, чтобы помочь ему. – И сменил тему, но, как мне показалось, не потому, что не хотел продолжать эту: Бенавидес был не из тех, кто избегает разговоров о боли и страдании. –

Я прочел ваш роман – ну, этот, про немцев. Кто бы мог подумать, что из моего пациента выйдет писатель.

– Да, кто бы мог подумать.

– И что он будет сочинять для стариков.

– Для стариков?

– Ну да, напишет о сороковых годах. О Второй мировой. Девятое апреля и прочее.

Он имел в виду мою книгу, опубликованную за год до этого. А задумана она была еще в 1999-м, когда я познакомился с Руфью Франк, еврейкой немецкого происхождения, которая, чудом избежав европейской катастрофы, в 1938 году приехала в Колумбию и воочию убедилась, как наше правительство, дружественное союзникам, разорвало дипломатические отношения со странами Оси и стало собирать подданных враждебных государств – пропагандистов европейского фашизма или просто сочувствующих ему – в загородных отелях класса «люкс», превращенных в концентрационные лагеря. В течение трех дней я расспрашивал эту памятную женщину и имел честь и удовольствие услышать из первых уст историю почти всей ее жизни и записать все это на слишком маленьких листках из блокнота, ибо в том раскаленном отеле, где мы и свели знакомство, ничего другого под рукой не нашлось. В ее жизни, богатой бурными событиями, семь с лишним десятилетий протекавшей на двух континентах, выделяется один трагикомический эпизод, когда по жестокой иронии, на которую никогда не скупится история, ее семья евреев-беженцев подверглась преследованиям уже и в Колумбии – «по факту принадлежности к немецкой нации». Это недоразумение (слово, в данной ситуации звучащее с неуместной игривостью) превратилось в первый набросок моего романа, названного «Осведомители», а жизнь и воспоминания Руфи, искаженные и преображенные, как всегда происходит с литературой, стали основой для биографии главной героини – Сары Гутерман, морального компаса в зыбком мире.

Но роман говорил еще и о многом другом. Поскольку основное действие разворачивалось в 40-х годах, герои неизбежно должны были столкнуться с событиями 9 апреля 1948 года. Персонажи «Осведомителей» часто упоминают этот роковой день: отец рассказчика, профессор риторики, не может без восхищения вспомнить необыкновенные речи Гайтана; на двух страницах описывается, как рассказчик идет в центр Боготы и приходит на место преступления подобно тому, как многократно поступал я, а сопровождающая его Сара Гутерман наклоняется, чтобы прикоснуться к рельсам трамвая, в ту эпоху еще ходившего по Седьмой каррере. В немой белизне полуночного кафетерия, где каждый из нас сидел перед своей чашкой кофе, доктор Бенавидес признался мне, что именно сцена, в которой пожилая женщина склоняется к мостовой в том месте, где упал Гайтан, и прикасается к рельсам, словно пытаясь нащупать пульс у раненого животного, и побудила его разыскать меня.

– Я ведь сделал то же самое.

– Что именно?

– Пошел в центр. Остановился перед трамвайными рельсами. Даже наклонился и потрогал их. – Он помолчал. – А к вам-то откуда все это приплыло?

– Не знаю, – ответил я. – Из жизни. Один из самых первых моих рассказов был про 9 апреля. К счастью, я так и не напечатал его. Помню только, что в конце падал снег.

– В Боготе?

– Ну да. На тело Гайтана. И на рельсы.

– Понимаю... – сказал он. – Недаром я не люблю беллетристику.

И так у нас завязался разговор о 9 апреля. Я обратил внимание, что Бенавидес никогда не употреблял по отношению к тому легендарному дню велеречивое название «Боготасо»<sup>2</sup>, кото-

---

<sup>2</sup> Боготасо, боготано (Bogotazo, *исп.*) – боготанец, житель Боготы – вошедшее в обиход название того дня (9.04.1948), когда в колумбийской столице началось стихийное вооруженное восстание.

рое мы, столичные жители, давно уже дали ему. Нет, он просто называл дату, иногда прибавляя и год: так, словно речь шла об имени и фамилии человека, достойного всяческого уважения, или так, словно употребление этого прозвища было бы проявлением нетерпимого панибратства, и, в конце концов, непозволительно фамильярничать со славными деяниями нашего прошлого. Потом Бенавидес начал рассказывать забавные случаи, и я старался не отставать. Он упомянул сотрудников Скотланд-Ярда, нанятых в 1948 году наблюдать за расследованием, и о краткой переписке с одним из них – уже много лет спустя: учтивый англичанин с непростышим еще негодованием вспоминал далекие дни своего пребывания в Колумбии, когда правительство требовало ежедневный отчет о результатах и одновременно ставило палки в колеса где только можно и нельзя. Я, в свою очередь, рассказал ему, что у моей жены есть тетка по имени Летисия Гонсалес, а у тетки – муж, которого на его беду зовут так же, как убийцу – Хуаном Роа Сервантесом, и за ним гналась кучка либералов<sup>3</sup> с мачете: потом, когда мы с ним познакомились, он (с явным усилием сдерживая слезы) сам поведал мне об этих тревожных днях, и крепче всего в память ему врезалась казнь, с досады придуманная для него обманувшимися гайтанистами – они сожгли его библиотеку.

– Повезло с именем, ничего не скажешь, – ответил на это Бенавидес.

И сейчас же пересказал мне историю своего пациента Эрнандо де Эсприэльи, который, к несчастью, оказался в Боготе в тот день, когда начались беспорядки, и целую ночь пролежал ничком на горе трупов, притворившись мертвым, чтобы взаправду не попасть в их число; я же – о том, как посетил уже превращенный в музей дом Гайтана, где в вертикальной застекленной витрине на всеобщее обозрение выставлен был манекен, облаченный в темно-синий костюм с пулевыми отверстиями (не помню, два их было или три) на груди... Минут пятнадцать-двадцать мы с Бенавидесом просидели в кафетерии, уже покинутом практикантами, и обменивались этими историями, как мальчишки обмениваются фигурками в футбольном альбоме. Но у доктора в какой-то момент явно возникло ощущение, что это некстати или что он мешает мне молчать. Вероятно, он, как все врачи, постоянно имеющие дело с чужими страданиями и тревогами, вернее, попросту живущие среди них, знал: пациентам и их близким нужно время от времени помолчать, ни с кем не разговаривать. И стал прощаться.

– Я живу тут неподалеку, – сказал он, протягивая мне руку. – Заходите ко мне, когда захочется поговорить о 9 апреля. Выпьем виски и все обсудим. Мне эта тема не надоедает никогда.

Я подумал было, что есть люди у нас в Колумбии, для которых говорить о 9 апреля – все равно, что играть в шахматы или в «кинга», разгадывать кроссворды, собирать марки. Правда, надо сказать: такие люди – наперечет, они постепенно исчезают, не оставив наследников и не создав школы, их поглощает всеобщее агрессивное беспамятство, угнетающее нашу несчастную страну. Но все же кое-кто еще остается, и это в порядке вещей, ибо убийство Гайтана – адвоката, умудрившегося с самых низов подняться к вершинам политики и призванного спасти Колумбию от ее собственных беспощадных элит, блистательного оратора, сумевшего в своих речах соединить несоединимые идеи Маркса и Муссолини – это часть нашего национального мифа, примерно такая же, как для гражданина США – гибель Кеннеди, или для испанца – 23 февраля<sup>4</sup>. Подобно всем моим соотечественникам, я рос, постоянно слыша, что Гайтана убили консерваторы, что Гайтана убили либералы, что Гайтана убили иностранные шпионы, что Гайтана убили представители рабочего класса, которые почувствовали, что их предали, что Гайтана убила олигархия, увидевшая в нем угрозу, и с готовностью верил, как и все вокруг, что Хуан Роа Сьерра был всего лишь орудием в руках участников некоего заговора – удавшегося

---

<sup>3</sup> Зд.: Члены или приверженцы Либеральной партии, лидером которой был Гайтан.

<sup>4</sup> 23 февраля 1981 года ультраправыми силами в Испании была совершена не увенчавшаяся успехом попытка военного переворота. В историю Испании этот день вошел как 23F (23 de febrero), или Эль Техерасо (El Tejerazo), по имени лидера мятежников, подполковника жандармерии в отставке Антонио Техеро Молины.

и оставшегося нераскрытым. И, быть может, причина моей уверенности заключалась тогда в том, что я – в отличие от многих – не испытывал безоговорочного восхищения перед Гайтаном, казавшимся мне сомнительной фигурой, но, впрочем, был убежден, что, если бы его не убили, жизнь в стране стала бы лучше, и что, если бы спустя столько лет это преступление не оставалось безнаказанным, я сам бы смотрелся в зеркало с большим удовольствием.

Глупо было бы отрицать, что 9 апреля – это зияющая рана колумбийской истории, но не только: эта разовая акция, поднявшая весь народ на кровопролитную войну, породила коллективный невроз, по вине которого мы уже больше полувека сами себе не доверяем. За время, прошедшее со дня убийства, мы, колумбийцы, безуспешно пытались понять, что же произошло в тот вторник 1948 года, и для многих это сделалось более или менее серьезным времяпрепровождением и способом потратить излишек сил. Есть такие американцы – я лично знаю нескольких, – они жизнь напролет обсуждают убийство Кеннеди, отыскивая немыслимые подробности и потаенные детали, они знают, туфли какой фирмы были в тот день на ногах у Джеки, и наизусть шпарят целые фразы из доклада комиссии Уоррена. Испанцы – я знаком всего лишь с одним, но мне и его хватает – не отстают и никак не перестанут толковать о провалившейся попытке путча 23 февраля 1981 года в нижней палате испанского парламента и с закрытыми глазами могут найти пулевые отверстия в крыше зала заседаний. Я так думаю, что подобные люди встречаются повсюду – так они реагируют на заговоры в своих странах: они претворяют события в рассказ, повторяемый снова и снова, словно детская сказка на ночь, и в то же время обращают их в некое святилище памяти и воображения, в умопостигаемый край, куда можно совершить туристическую поездку для утоления ностальгии или в попытках отыскать потерянное. К числу таких людей, как мне тогда казалось, принадлежал и доктор Бенавидес. Может быть, и я тоже? Он спросил меня, откуда мне это надуло, и я не утаил, что в университетские годы написал рассказ. И долго не вспоминал об этом, и удивился, что воспоминания вздумали вернуться ко мне сейчас, среди нынешних треволнений.

Это были тяжкие дни 1991 года. Начиная с апреля 1984-го, когда наркобарон Пабло Эскобар приказал убить министра юстиции Родриго Лара Бонилью, война между Медельинским картелем и колумбийским государством штурмом взяла мой город и превратила его в поле битвы. Бомбы взрывались в разных точках Боготы, тщательно выбранных наркобаронами с таким расчетом, чтобы погибали безвестные горожане, не причастные к противоборству (впрочем, все мы были причастны, и считать иначе было бы близоруко и наивно). Например, накануне Дня матери два взрыва в столичных торговых центрах унесли жизни двадцати человек, а на арене для боя быков в Медельине – двадцати двух. Взрывы размечали наш календарь. С течением месяцев мы стали понимать, что никто не может считать себя в безопасности, рискует каждый из нас: каждого может настичь бомба – в любое время, в любом месте, когда и где угодно. Места, где произошли теракты – в силу какого-то атавизма, природу которого мы только начинали постигать, – так и оставались закрытыми для пешеходов. Целые кварталы оказывались для нас недоступны или превращались в *memento mori*<sup>5</sup> из бетона и кирпича, а нас в это самое время робко осеняло предвестие истины, заключавшейся в том, что новый, неведомый до сих пор вид случайности (случайности, благодаря которой мы избежали гибели, и наравне со случайностью любви – самой существенной и вместе с тем самой бесцеремонно-дерзкой) врвался в нашу жизнь с силой невидимой и непредсказуемой взрывной волны.

Меж тем я начал изучать юриспруденцию в университете, расположенном в центре Боготы, в здании старинного, выстроенного в XVII веке монастыря: в его темницах держали

<sup>5</sup> Зд.: Напоминание о смерти (лат.).

еще героев войны за Независимость <sup>6</sup>, по его лестницам – вели их порой на плаху, из стен его – толстенных, надо сказать, – вышли впоследствии несколько президентов, немало поэтов, а в самых неблагоприятных случаях – те и другие в одном лице. В аудиториях не говорили только о том, что творится снаружи, зато живо обсуждали, имеют ли право засыпанные в пещере спелеологи съесть друг друга; спорили, в правовом ли поле находились притязания венецианского купца Шейлока требовать с Антонио фунт его мяса и законным ли порядком действовала Порция, воспрепятствовав этому с помощью незамысловатой уловки. На занятиях (едва ли не на всех) я почти физически страдал от скуки, чувствуя в груди какое-то странное томление, похожее на легкую дурноту. Маясь невыразимой тяготиной процессуального ли кодекса, имущественного ли права, я усаживался в последнем ряду и, прикрытый разномастными спинами товарищей, доставал книгу Борхеса, Варгаса Льосы, или – по рекомендации последнего – Флобера, или – по рекомендации первого – Стивенсона и Кафки. Довольно скоро поняв, что не имеет смысла присутствовать на лекциях того лишь ради, чтобы исполнять замысловатый ритуал академического притворства, я начал манкировать ими и проводить время в бильярдных и в разговорах о литературе или слушал записи Леона де Грейффа <sup>7</sup> и Пабло Неруды, сидя на кожаном диване в гостиных Дома Сильвы <sup>8</sup>, или бродил в окрестностях моего университета без ясной цели, без определенного маршрута и весьма неметодично, направляясь от чистильщиков обуви на площади до кафе возле «Чорро де Кеведо», от шумных скамеек в парке Сантандер до безмолвных и уединенных в Паломар-дель-Принсипе или Центра Книги, где тесно стоящие букинисты могли раздобыть все романы, создавшие латиноамериканский бум, и дальше – к Храму Идеи, трехэтажной развалюхе, где буйно цвели частные библиотеки и можно было присесть на ступени и читать чужие книги, вдыхая запах ветхой бумаги и слушая перебранку клаксонов. Я сочинял бессюжетные рассказы с поэтической невнятицей, заимствованной из «Ста лет одиночества», и другие, имитирующие пунктуацию саксофониста из, скажем, кортасаровского «Бестиария» или «Цирцеи». На втором курсе стало окончательно ясно то, что зрело во мне несколько месяцев: мои юридические штудии меня не интересуют и ни зачем не нужны, ибо я одержим единственной страстью – читать беллетристику и со временем научиться писать самому.

Вот в это время и произошли кое-какие события.

На семинаре по истории политических течений мы рассуждали о Гоббсе, Локке и Монтескье, когда на улице грохнуло два раза подряд. Из окна аудитории на восьмом этаже здания, выходящего на Седьмую карреру, открывался отличный вид на тротуар и мостовую. Я сидел в последнем ряду, прислонясь спиной к стене, и раньше других вскочил, чтобы выглянуть на улицу, а там, на тротуаре под витриной канцелярского магазина «Панамерикана», был распостерт только что застреленный человек, истекающий кровью на виду у всех. Я поискал взглядом стрелка – и не нашел: ни у кого из прохожих не было в руке пистолета, никто не удирал по улице, торопясь завернуть за благодетельный угол, не было ни голов, повернутых вслед беглецу, ни тычущих пальцев, ни любопытных взглядов – а все потому, что жители Боготы уже научились не соваться в чужие дела. Раненый был в деловом костюме, но без галстука, из-под распахнувшегося при падении пиджака виднелась белая сорочка, залитая кровью. Он не шеве-

---

<sup>6</sup> Война за Независимость (1810–1824) привела к освобождению испанских колоний в Южной Америке из-под власти метрополии и образованию ряда суверенных государств, в том числе Колумбии.

<sup>7</sup> Франсиско де Асис Леон Богислао де Грейфф Ойслер, более известный как Леон де Грейфф (1895–1976) – колумбийский поэт-авангардист, создавший целую галерею гетеронимов.

<sup>8</sup> Дом поэзии Хосе Асунсьона Сильвы, или просто Дом Сильвы, – дом, где провел последние пять лет жизни колумбийский поэт Хосе Асунсьон Сильва, одна из крупнейших фигур испаноязычного модернизма. В 1986 году дом был выкуплен предпринимателем Белисарио Беттанкуром и посвящен поэзии: кроме музейной части, в Доме Сильвы действуют библиотека, фонотека, аудитория, залы для занятий и книжный магазин.

лился. Я подумал: убит. Тем временем прохожие подхватили тело и держали его сколько-то времени на весу, пока кто-то не остановил белый фургон с открытым кузовом. Тело загрузили туда, и один из доброхотов забрался следом. Я спросил себя, кто это – его знакомый (партнер, к примеру, по бог знает каким неудобным делам) или первый встречный, шел ли он вместе с ним, когда раздались выстрелы, был ли движим сочувствием или проникся прилипчивой жалостью. Не дожидаясь, когда светофор на проспекте Хименеса переключится на зеленый, грузовичок вырвался из потока стоявших машин, резко свернул налево (я понял, что раненого везут в клинику Сан-Хосе) и скрылся из виду.

По окончании лекции я пешком спустился с восьмого этажа во внутренний дворик университета и вышел на площадь Росарио, посреди которой возвышалась статуя основателя города, дона Гонсало Хименеса де Кесады, в доспехах и при шпаге, неизменно покрытых густым налетом голубинового дерьма, то бишь помета. Прошел по переулочку 14-й калье, где всегда прохладно, потому что солнце появляется там только до девяти утра, и вышел на Седьмую карреру на уровне писчебумажного магазина. На тротуаре, как оброненная вещь, поблескивало кровавое пятно, прохожие обходили, огибали его, и можно было подумать, что свежая кровь застреленного человека сочится из-под прохудившегося покрытия, и обитатели центра, с незапамятных времен привыкнув к ней, незаметно для самих себя стараются не наступать на нее. Пятно было размером с ладонь. Я приблизился и, словно оберегая его, стал так, чтобы оно оказалось между моими подошвами, а потом именно это и сделал – наступил.

Однако наступил аккуратно, осторожно, кончиком башмака, наподобие того, как ребенок окунает пальцы в воду, проверяя, не горячо ли. Контур пятна потерял четкость очертаний. И я неожиданно устыдился, потому что поднял голову, проверяя, не наблюдает ли за мной кто-нибудь, и безмолвно осудил свое поведение (найдя в нем нечто неуважительное или даже оскорбительное), и постарался понезаметней отойти прочь. В нескольких шагах оттуда мраморные доски напоминали, что на этом месте был убит Хорхе Эльсер Гайтан. Задержавшись на миг, чтобы прочесть их, я пересек карреру, прошел на проспект Хименеса и через квартал оказался в кафе «Пасахе», а там попросил стакан красного и бумажной салфеткой оттер испачканный носок башмака. Я мог бы оставить салфетку на столе, под фарфоровым блюдом, но, постаравшись не прикоснуться к засохшей крови, предпочел забрать и выбросить в первую же мусорную урну. Ни в этот день, ни в последующие я никому ничего не сказал об этом.

Наутро, однако, я вернулся на место происшествия. Пятно уже исчезло, и на сером асфальте оставался только след от него. Мне хотелось знать судьбу раненого – выжил ли он, поправляется ли, окруженный заботами жены и детей, или умер, и сейчас, быть может, где-нибудь в осатаневшем городе подходит к концу бдение над его телом. Как и накануне, я сделал два шага по проспекту Хименеса, остановился у мраморных досок и на этот раз прочел все, что выбито было на обоих, и тут понял то, чего не понимал прежде. Гайтан, о котором говорили у меня дома с тех пор, как я помню себя, оставался для меня незнакомцем – тенью, скользящей в моих смутных представлениях о колумбийской истории. Днем я дождался, когда после лекции по риторике из аудитории выйдет профессор Франсиско Эррера, и спросил, не согласится ли он выпить со мной пива и рассказать о 9 апреля.

– Лучше кофе с молоком, – ответил он. – Я не могу вернуться домой, разя пивом.

Франсиско Эррера – Пачо, как называли его друзья – был художав, носил большие очки в черной роговой оправе и пользовался славой человека эксцентричного, которому его баритон не мешал в совершенстве имитировать почти всех наших известных политиков. Специальностью его была философия права, однако благодаря своим познаниям в риторике и особенно дару пересмешника он сумел организовать нечто вроде факультатива, где читались и разбирались великие образцы политического красноречия – от речи Антония в шекспировском «Юлии Цезаре» до выступлений Мартина Лютера Кинга. И довольно часто занятия служили прологом к посиделкам в соседнем кафе, где за чашку кофе с коньяком он давал нам

послушать свои пародии на знаменитостей под любопытствующими взглядами, а порой и саркастическими замечаниями с соседних столиков. Гайтан получался у профессора особенно удачно, поскольку орлиный нос и черные прилизанные волосы придавали ему известное сходство с оригиналом, а еще и потому, что его исчерпывающие сведения о жизни и свершениях Гайтана, которым он даже посвятил краткий биографический очерк, выпущенный в университетском издательстве, чувствовались в каждой фразе, звучавшей до такой степени похоже, что профессор казался медиумом на спиритическом сеансе: его устами Гайтан возвращался к жизни. Однажды я даже сказал, что, когда он произносит его речи, впечатление такое, будто в него вселяется дух покойного политика. В ответ он улыбнулся, как может улыбаться только тот, кто всю свою жизнь посвятил эксцентриаде и вот только что с легким удивлением убедился, что не потратил время даром.

В дверях кафе «Пасахе» – оттуда как раз выходил чистильщик ботинок со своим ящиком под мышкой, и мы посторонились, пропуская его, – Пачо спросил, о чем же я хотел бы поговорить.

– Хочу знать, как все было на самом деле, – ответил я. – Как произошло убийство Гайтана.

– А-а, ну тогда нечего даже и присаживаться. Пошли, обойдем полквартала.

И мы пошли, причем пошли, не обменявшись ни единым словом, и молча шагали вдвоем, и молча же спустились по ступенькам со стороны проспекта Хименеса, и так же молча дошли до угла, и молча стали ждать, когда можно будет перейти запруженную автомобилями карреру. Пачо как будто спешил, и я старался не отставать. Он вел себя, как старший брат, который перебрался в другой город и теперь показывает его младшему, приехавшему погостить. Меня немного удивило, что Пачо не задержался у мраморных досок, не удостоил их взглядом и не показал, что знает их, ни протянутой рукой, ни поворотом головы. Мы добрались туда, где в 1948 году стоял дом Агустина Ньето <sup>9</sup> (тут я сообразил, что мы находимся всего в нескольких шагах от того места, где накануне было кровавое пятно, а теперь остались лишь тень его и воспоминание), и Пачо подвел меня к стеклянной двери торгового центра и сказал:

– Дотроньтесь до нее.

Я не сразу понял, о чем он:

– Дотронуться до двери?

– Да-да, – настойчиво велел он, и я повиновался. – Отсюда, из этой двери, 9 апреля вышел Гайтан. Ну, разумеется, дверь не та, потому что и дом совсем другой: прежний, принадлежавший Аугустину Ньето, недавно снесли, а на его месте выстроили это убожище. Но в этот момент, здесь и для нас, это дверь, из которой вышел Гайтан, и вы к ней прикасаетесь. Было около часа дня, Гайтан с несколькими приятелями шел обедать. И пребывал в прекрасном расположении духа. А знаете, почему?

– Нет, Пачо, не знаю. – Из дома вышла какая-то парочка и мельком оглядела нас. – А почему? Объясните.

– Потому что накануне выиграл процесс. И поэтому, именно поэтому был очень доволен.

Оправдание лейтенанта Кортеса, обвиняемого в убийстве журналиста Эудоро Галарсу Осса, выглядело не столько юридической победой, сколько настоящим чудом. Гайтан произнес потрясающую речь – едва ли не лучшую в своей адвокатской практике, – доказывая, что – да, лейтенант застрелил журналиста, но действовал ради законной защиты своей чести. Преступление было совершено десять лет назад<sup>10</sup>. Осса, главный редактор ежедневной газеты в Манисалесе, разрешил напечатать статью о том, что лейтенант скверно обращается со своими солдатами; Кортес явился в редакцию и заявил протест, когда же редактор стал на защиту сво-

---

<sup>9</sup> Агустин Ньето Кабайеро (1889–1975) – писатель, психолог, адвокат, основатель крупных частных школ для мальчиков и девочек и молодежного движения от Колумбийского Красного Креста.

<sup>10</sup> Все это время офицер находился в предварительном заключении.

его репортера, уверяя, что тот написал чистую правду, Кортес достал пистолет и произвел два выстрела. Такова была фабула. Однако Гайтан, во всеоружии своего красноречия, заговорил о страстях человеческих, о чести офицера, о чувстве долга, о защите патриотических ценностей, о соотношении агрессии и самозащиты, о том, как одни и те же обстоятельства, совершенно не задевая гражданское лицо, могут опозорить военного, который, защищая свою честь, тем самым защищает и все общество. Я не удивился, что Пачо на память знал финал этой речи. В очередной раз, как уж бывало раньше, я заметил, как он преобразился, и слышал теперь не густой и низкий голос профессора Эрреры, а более высокий и пронзительный голос Гайтана с его размеренным глубоким дыханием, будто выверенным по метроному, с отчетливым выделением согласных и взволнованным ритмом:

– Лейтенант Кортес! Не знаю, каков будет вердикт высокого суда, но общество сочувствует вам и надеется на торжество справедливости. Лейтенант Кортес, вы не мой подзащитный. Ваша жизнь, исполненная благородства и страдания, побуждает меня протянуть вам руку, ибо я знаю, что протягиваю ее человеку чести, человеку в высокой степени наделенному даром порядочности и добросердечия.

– Порядочности и добросердечия... – эхом откликнулся я.

– Чудесно, правда? – сказал Пачо. – Бессовестная манипуляция, но как чудесно исполнена. Вернее, чудесно именно потому, что это грубая манипуляция.

– Бессовестная, но успешная.

– Именно так.

– Гайтан в этом жанре был настоящий чудесник.

– Маг! – сказал Пачо. – Поборник различных свобод, который вытащил из-за решетки убийцу журналиста, И никто не увидел в этом противоречия. Мораль: никогда не верьте злоустам.

Публика устроила овацию и вынесла Гайтана из зала суда на руках, как тореро. Было десять минут второго ночи. Гайтан, усталый, но довольный, принимал неперенные в таких случаях поздравления, чокался с близкими и дальними и домой попал лишь к четверем. Однако уже через пять часов вернулся в свою контору, тщательно причесанный и облаченный в костюм-тройку темно-синего, почти черного, цвета, в едва заметную белую полоску. Принял клиента, ответил на телефонные звонки. Около часа в его кабинете собрались друзья, пришедшие поздравить – Педро Элисео Крус, Алехандро Вальехо, Хорхе Падилья. И один из них – Плинио Мендоса Нейра – пригласил всех пообедать, потому что событие минувшей ночи следовало отпраздновать.

«Принимается, – со смехом ответил Гайтан. – Но заранее предупреждаю тебя, Плинио, что стою недешево».

Они спустились на лифте, помещавшемся тогда где-то здесь, – продолжал Пачо, показывая на вход в здание, известное также как «убожище». – В доме Агустина Ньето нередко случались перебои с электричеством, и лифт работал не всегда. Но в тот день он был исправен. Вот здесь они спустились, смотрите. – Я посмотрел. – И вышли на улицу. Плинио Мендоса взял Гайтана под руку, вот так. – Пачо подхватил меня под локоть и повлек вперед – от подъезда к тротуару Седьмой карьеры. Пачо, которого больше не защищала от уличного шума наружная стена дома, пришлось повысить голос и придвинуться ко мне поближе. «На другой стороне улицы висела афиша кинотеатра “Фаэнса”. Шел фильм Росселини “Рим, открытый город”. Гайтан учился в Риме, и очень может быть, что афиша привлекла его внимание, как сказал классик, по бессознательной филиации идей. Но, наверное, мы этого никогда уже не узнаем: нам неведомо, что творится в мозгу человека перед смертью – какие воспоминания всплывают из глубины, в какие цепочки сплетаются ассоциации. Так или иначе, думал ли Гайтан о Риме и о Росселини или нет, Плинио Мендоса сделал два шага вперед, отдаляясь от

остальной компании. Он как будто хотел обсудить с Гайтаном такое, что не предназначалось для других. И знаете ли что? Весьма вероятно, это “такое” у него в самом деле имелось.

– Я – вкратце, – сказал Мендоса.

И я увидел, как Гайтан резко остановился, стал пятиться назад, к дверям, и вскинул руки к лицу, словно закрывая его. Хлопнули один за другим три выстрела, а долю секунды спустя – четвертый. Гайтан повалился навзничь.

– Что с тобой, Хорхе? – сказал Мендоса».

– Можно ли было задать вопрос глупее? – сказал Пачо. – Но хотел бы я знать, кто в такой ситуации придумает что-нибудь более оригинальное.

– Никто.

– Мендоса заметил убийцу, – сказал Пачо, – и бросился к нему. Но тот наставил оружие на него, Мендосе пришлось отступить. Он подумал, что следующая пуля – ему, и попытался юркнуть в дверь: укрыться за нею или спрятаться в доме.

Профессор снова взял меня под руку. Мы вернулись к несуществующей двери Агустина Ньето, повернулись лицом к мостовой, глядя на льющийся по ней поток машин, и Пачо поднял правую руку и указал то место, где упал Гайтан. Струйка крови из пробитой головы вытекла на мостовую.

– Вон там стоял Хуан Роа Сьерра, убийца. Похоже, он караулил Гайтана у дверей дома Ньето. Точно сказать, сами понимаете, невозможно. Свидетели потом припомнили, что видели, как он вошел в здание, как поднимался и спускался на лифте. Короче говоря, он привлек к себе внимание. Но опять же наверняка утверждать нельзя: после столь серьезного преступления людям кажется, будто они что-то видели, будто что-то показалось им подозрительным... Иные уверяли, что на Роа был сильно поношенный серый костюм в полоску. Другие – что костюм точно был в полоску, но светло-коричневого цвета. Третьи никаких полосок не заметили вовсе. Но надо принять в расчет, что там творилось – какое смятение царило, какой ор стоял, какая суeta поднялась. Кто и что тут мог заметить? Короче говоря, Мендоса видел убийцу вот отсюда, с того места, где мы сейчас с вами стоим. И видел, что тот опустил револьвер и прицелился в лежавшего на мостовой Гайтана, вероятно, желая добить его. Но, если верить Мендосе, не выстрелил. Другой свидетель уверяет, что как раз выстрелил, но пуля от ricocheted от асфальта и чуть не убила Мендосу. Роа завертел головой, соображая, в какую сторону бежать. Вон там, на углу, – сказал Пачо, водя рукой в воздухе и показывая на проспект Хименеса, – стоял полицейский. Мендоса видел, как тот на секунду, на кратчайший миг поколебавшись, выхватил пистолет и навел его на Роа. Тот бросился бежать туда, на север, смотрите...

– Я смотрю.

– И потом повернул назад и ринулся на спутников Гайтана, как будто намереваясь напугать их, не знаю, понимаете ли вы меня, словно хотел прикрыть ими свое бегство. И в этот миг вся толпа кинулась на него. Одни говорят, что первым сбил его с ног тот самый полицейский, который собирался стрелять, а, может, и другой. Другие – что полицейский подобрался сзади и приставил ему ствол к спине, а Роа поднял руки вверх, и вот тогда-то все набросились на него. Третьи – что он попытался убежать вверх по улице, на восток. Но не успел – его схватили на месте. Друзья Гайтана, увидев это, вернулись к упавшему поглядеть, что с ним и нельзя ли помочь. Шляпа слетела у него с головы и лежала рядом. А тело – вот так, – Пачо прочертил в воздухе горизонтальные линии. – Параллельно мостовой. Однако смятение было столь велико, что каждый потом давал собственную версию. Одни – что Гайтан лежал головой к югу, ногами – к северу, другие утверждали, что как раз наоборот. Но в одном сходились все: глаза у него были открыты и ужасающе спокойны. Кто-то – кажется, Вальехо – заметил, что изо рта у него течет кровь. Кто-то крикнул, чтобы принесли воды. На первом этаже дома помещалась закусочная «Черный Кот», и оттуда появилась официантка со стаканом воды. Кажется, кричали: «Убили нашего Гайтана!» Люди, приблизившиеся к убитому, дотрагивались до него, как до

святого – прикоснулись к одежде, к волосам. Тут подоспел Педро Элисео Крус, врач, и, склонившись над Гайтаном, попытался прощупать пульс.

– Жив? – спросил Алехандро Вальехо.

– Ты подгони лучше такси, – ответил Крус.

Но такси – черного цвета – подкатило само, никто его не вызывал, – продолжал Пачо. – Люди дрались за право поднять Гайтана и уложить его на сиденье машины. Но Крус еще до этого заметил в затылочной части головы рану. Попытался осмотреть ее, но как только прикоснулся к ней, Гайтана вырвало кровью. Кто-то спросил Круса, в каком состоянии раненый, и он ответил: «Безнадежен».

– Гайтан несколько раз вскрикнул, – сказал Пачо. – Ну то есть издал несколько звуков, похожих на стоны.

– Значит, он все же был жив, – сказал я.

– Еще жив, – подтвердил Пачо. – Официантка из другого кафе – то ли «Мельница», то ли «Инка» – клялась потом, что слышала своими ушами, как он сказал: «Не дайте мне умереть». Однако я в это не верю. А верю скорей уж словам Круса – что Гайтану уже ничем было не помочь. Тут появился некто с фотоаппаратом и принялся снимать.

– Как? – изумился я. – Есть фотографии Гайтана после покушения?

– Говорят, есть. Сам я их не видел, но, кажется, есть. Верней сказать, кто-то их делал, это точно известно. А вот сохранились ли – вопрос другой. Конечно, трудно представить, что такие важные свидетельства могли пропасть – что их выбросили или потеряли, скажем, при переезде. Однако высока вероятность, что именно так и случилось. Иначе почему они не дошли до нас? Конечно, кто-то мог их уничтожить намеренно. Вокруг этого события клубится множество тайн... Короче, фотограф все же протиснулся через толпу и начал снимать Гайтана.

Кто-то из присутствующих возмутился. «Убитый не нужен, – сказал он фотографу. – Снимайте убийцу».

– Фотограф, однако, продолжал свое дело, – сказал Пачо. – Гайтана уже подняли и приготовились положить на заднее сиденье. Крус поместился рядом, а прочие друзья на другом такси поехали следом. На юг, в Центральную клинику. Говорят, в этот миг многие склонялись к тротуару, где минуту назад лежало тело Гайтана, и смачивали носовые платки кровью. Потом кто-то принес национальный флаг Колумбии и сделал то же самое.

– А Роа Сьерра? – спросил я.

– Роа Сьерру сцапал полицейский, разве не помните?

– Да-да. Там, сбоку от дома.

– Почти на углу. Роа Сьерра был уже на проспекте Хименеса, когда полицейский нагнал его и приставил ствол к спине.

«Не убивай меня, капрал!» – взмолился тот.

Оказалось, что это не полицейский, а возвращавшийся с дежурства *драгонадо* – солдат на капральской должности. Он разоружил Роа (отнял у него никелированный пистолет и сунул себе в карман) и взял его за руку.

– Звали солдата Хименесом, – сказал Пачо. – Рядовой на капральской должности Хименес нес службу не где-нибудь, а на проспекте Хименеса: мне порой кажется, у музыки истории скудноватое воображение. Так вот, он и арестовал Роа Сьерру, когда кто-то из зевак догнал его, скрутил и двинул о витрину магазина, стоявшего вот на этом самом месте. – Пачо показал, где. – Там, кажется, продавались фотопринадлежности «Кодак», но я не уверен. И неизвестно, от удара, нанесенного раньше, или от того, что приложился лицом о витрину, у Роа пошла носом кровь.

Увидев, что вокруг стал собираться народ, Хименес попытался смыться сам и увести арестованного. Он направился на юг, пройдя мимо фасада. «Вот он, вот он, убийца доктора Гайтана», – взревела толпа. Хименес, по-прежнему не выпуская руку злоумышленника, начал

пробиваться к дверям аптеки «Гранада», но тут чистильщики ботинок стали бить обоих своими тяжелыми деревянными ящиками.

– Роа перепугался до смерти, – сказал Пачо. – Вальехо и Мендоса, которые видели, как он стрелял, говорили, что лицо его в эту минуту было искажено ненавистью – ненавистью фанатика. И все утверждают, что он прекрасно владел собой. А вот потом, когда его окружили разъяренные чистильщики и обрушили на него град ударов, он, я думаю, решил, что его сейчас просто растерзают... и тут уж стало не до фанатизма и не до самообладания. Теперь им овладел животный ужас. И перемена была так разительна, что многие решили – тут два разных человека: один – фанатик, другой – трус.

Убийца Гайтана был бледен. Прямые, слишком длинные волосы, остроконечное костистое лицо оливкового оттенка, небритое и оттого казавшееся грязноватым. И весь он напоминал бродячую собаку. Свидетели говорили, что у него был вид мастера или механика, а иные даже уверяли, что заметили на рукаве пятно от машинного масла. «Линчевать убийцу!» – кричал кто-то. Роа пинками загнали в аптеку «Гранада». Паскаль де Веккьо, приятель Гайтана, попросил хозяина куда-нибудь спрятать его, чтобы толпа не растерзала. Роа, который как будто смирился со своей участью и не оказывал ни малейшего сопротивления, скорчился в углу так, чтобы с улицы его было не видно. Кто-то опустил металлические жалюзи. Один из служащих подошел к Роа вплотную:

– За что вы застрелили доктора Гайтана?

– Ай, сеньор, не могу сказать – слишком большие люди тут замешаны, – ответил тот.

– Толпа на улице начала ломать железные жалюзи, – сказал Пачо. – Хозяин, струсив или предпочтя сохранить свое заведение, сам открыл двери.

– Сейчас будет самосуд, – настаивал фармацевт. – Скажите, кто вас послал.

– Не могу, – сказал Роа.

– Он попытался спрятаться за прилавком, но был схвачен, прежде чем успел юркнуть туда, – продолжал Пачо. – Чистильщики выволокли убийцу наружу. Однако прежде чем он оказался на мостовой, кому-то попала под руку... знаете, есть такие железные тележки-поддоны, на которых перетаскивают ящики? – ну вот, такая штукавина. И кто-то схватил ее и обрушил на голову Роа. Я всегда думал, что он тогда уже потерял сознание. Толпа вытащила его на мостовую. И продолжала избивать чем попало – кулаками, ногами, ящиками. Говорили, будто кто-то несколько раз вонзил в него шариковую ручку. Роа поволокли на юг, к президентскому дворцу. Есть фотография – кто-то снял с верхнего этажа, когда толпа уже продвинулась дальше, к площади Боливара. Там видно, как тащат Роа, а вернее, его труп – почти голый, потому что, пока тащили, содралась одежда. Это одна из самых жутких фотографий того жуткого дня. Роа – явно уже мертвец, и, значит, умер на пути из аптеки «Гранада». Почему-то иногда мне приходит в голову, что – одновременно с Гайтаном. Вы знаете точное время смерти Гайтана? Пять минут третьего. Не может быть такого, чтобы он умер одновременно со своим убийцей, правда ведь? Не знаю, важно ли это, вернее, знаю, что неважно, но порой думаю об этом. Вот отсюда, где когда-то была аптека «Гранада», вытащили Роа Сьерру. И, может быть, мимо того места, где мы сейчас с вами стоим, волокли уже мертвого. А, может быть, он умер потом. Это неизвестно и не будет известно никогда.

Пачо замолчал – и надолго. Потом взглянул на небо, подставил ладонь:

– Вот черт, накрапывает... Хотите узнать еще что-нибудь?

Мы были не далее чем в пяти шагах от того места, где несколько часов назад рухнул наземь безымянный и неизвестный человек. Я уже собирался спросить Пачо, знает ли он что-нибудь об этом, но потом решил, что вопрос этот – бесполезный и бессмысленный и, более того, бестактно и неуважительно задавать его тому, кто так щедро поделился со мной своими знаниями. И еще я подумал о том, что сколь бы ни были различны эти два покойника – Гайтан и безымянный человек – и сколько бы долгих лет ни разделяло их, но две кровавые лужицы – та, в

которой смачивали носовые платки в 1948 году, и та, которую я тронул носком башмака в 1991-м – в сущности говоря, не так уж сильно отличаются друг от друга. Их сближает исключительно моя замороженность или одержимость – называйте, как хотите, – но этого достаточно, потому что и то и другое – не слабее нутряного отторжения, которое я испытывал по отношению к этому городу – городу-убийце, городу-кладбищу, городу, где на каждом углу валяется свой труп. Не без испуга – пусть смутного – я обнаружил, что мертвецы, которые кишмя кишат в городе – мертвецы бывшие и сущие, – в самом деле завораживают меня. И вот я хожу по этому взбесившемуся городу, хожу и ищу местá преступлений, гоняюсь за призраками погибших насильственной смертью как раз потому, что боюсь в один прекрасный день стать одним из них. Но это нелегко объяснить – даже человеку вроде Пачо Эрреры.

– Нет, больше ничего, – сказал я. – Спасибо за все.

И увидел, как он затерялся в толпе.

А вечером я пришел домой и одним махом написал семь страниц рассказа, где повторял или пытался повторить все, что услышал от Пачо, стоя на Седьмой каррере, в том самом месте, где история моей страны сделала крутой поворот и опрокинулась. Не берусь объяснять, каким образом слова Пачо разожгли мое воображение, не думаю, что тогда чувствовал рядом тысячи колумбийцев, на долю которых выпало жить в предшествующие сорок три года. Рассказ вышел так себе, но это был мой рассказ: и голос в нем звучал мой собственный, природный, а не позаимствованный, как бывало и еще будет столько раз, у Гарсия Маркеса, или у Кортасара, или у Борхеса: во взгляде на мир, в интонации впервые возникло что-то мое – и только мое. Я показал написанное Пачо – начинающие всегда ищут одобрения у старших, – и с той секунды возникли между нами новые отношения, отношения соучастников, зиждившиеся больше на товариществе, нежели на авторитете. Через несколько дней он спросил, не хочу ли я пойти с ним в дом Гайтана.

– У Гайтана есть дом?

– Дом, где он жил, пока его не убили. Сейчас там, разумеется, музей.

И вскоре, во второй половине солнечного дня, мы пришли в большой двухэтажный дом (с той поры я там не бывал), окруженный зеленью (я запомнил маленькую лужайку и дерево) и обитаемый исключительно призраком Гайтана. Внизу стоял старый телевизор, где повторялся документальный биографический фильм, чуть повыше динамики извергали записанные на пленку речи, а наверху, на площадке широкой лестницы, посетителя встречал темно-синий костюм в застекленной витрине. Я обошел ее кругом, отыскивая пулевые отверстия и, найдя их, вздрогнул, как от озноба. Потом нашел могилу в саду и постоял перед ней, вспоминая все, что слышал от Пачо, поднял голову, глядя, как под ветром подрагивают листья на дереве, и чувствуя на щеке тепло предзакатного солнца. Пачо ушел, не дав мне времени проститься, и остановил на каррере такси. Я видел – вот он сел в машину, захлопнул дверцу, вот шевелит губами, называя шоферу адрес, а потом снимает очки, как делаем мы, когда хотим избавиться от попавшей в глаз соринки или ресницы или сморгнуть туманящую зрение слезу.

Доктор Бенавидес нанес нам визит через несколько дней после нашего знакомства. В субботу я часа два провел в ресторанчике торгового центра по соседству, чтобы чем-нибудь перебить однообразие больничного кафетерия, а потом потратил еще сколько-то времени в книжном магазине «Либрерия Насьональ», где отыскал книгу Хосе Авельяноса<sup>11</sup>, подумав, что она может мне пригодиться в работе над романом, который писал урывками. Авельянос сочинил замысловатую пикареску о возможном путешествии Джозефа Конрада в Панаму, и с каждой прочитанной фразой мне становилось яснее, что у книги этой одна-единственная цель

---

<sup>11</sup> Литературная мистификация, рассчитанная на знатоков творчества Дж. Конрада: дон Хосе Авельянос – персонаж романа самого Конрада «Ностромо». *Прим. перев.*

– отвлечь меня от моих медицинских тревог и волнений. Когда я вернулся в палату, М. проводили исследование, имевшее целью установить так называемую «судорожную активность»: живот ее был покрыт электродами, негромко жужжал придвинутый к кровати аппарат, и, перекрывая это жужжание, слышался деликатный, но лихорадочный шорох самописца, чернилами выводившего на миллиметровке прямые и зубцы. С каждым сокращением мускулов линия менялась, вздрагивала, как внезапно разбуженное животное. «Вот сейчас прошла волна, – сказала сестра. – Почувствовали?» И М. вынуждена была признаться, стыдясь собственной бесчувственности, что не почувствовала и эту тоже. Зато для меня на этой исчерченной бумаге мои дочери едва ли не впервые проявили свое присутствие в этом мире, и я даже хотел спросить, можно ли мне будет оставить ее себе или сделать копию. Но потом сказал себе: а если все пройдет плохо? Если роды будут неудачные, и девочки не выживут или родятся неполноценными, и нечего будет вспоминать, а тем более праздновать? Что тогда? Ни врачи, ни результаты анализов не исключали возможность осложнений. И потому я ничего не попросил у сестер, и они удалились.



– Как прошло? – спросил я жену.

– Как всегда, – чуть заметно улыбнувшись, ответила она. – Эта парочка спешит наружу, как будто на свидание. – И добавила: – Тебе тут кое-что оставили. Вон там, на столе.

Я увидел почтовую открытку, а вернее – фото размером с открытку, с текстом на обороте. Автором оказался Сади Гонсалес, один из великих фотографов нашего времени, который потом прославился в первую очередь как основной свидетель и очевидец Боготасо. А это была едва ли не самая известная его работа. Он сделал снимок в клинике, куда привезли Гайтана и где пытались спасти его. На фотографии запечатлен момент, когда стало ясно – усилия

врачей тщетны, свершился переход из раненых в убитые, тело немного привели в порядок и открыли к нему доступ посторонним, так что Гайтан, укрытый белой – безусловно, пронзительно белой – простыней, уже окружен людьми. Среди них есть и врачи, и один левой рукой – на пальце можно разглядеть кольцо – придерживает тело Гайтана, словно для того, чтобы оно не соскользнуло; другой – надо полагать, это Педро Элисео Крус – повернул голову туда, где в этот миг, вероятно, прочувствовав его значение и желая тоже увековечить себя для истории, появился полицейский. У левой рамки кадра в профиль к нам стоит доктор Антонио Ариас: он смотрит в никуда, храня на лице выражение специфической – ну, или это я счел ее такой – печали, и он здесь – единственный, кто в самом деле не смотрит в объектив и кому непритворная скорбь не дает наблюдать за происходящим в комнате. В центре композиции находится Гайтан в несколько неестественной позе: ему кто-то приподнял голову, чтобы лицо было лучше видно на снимке, ибо вся съемка затевалась ради того, чтобы засвидетельствовать гибель вождя, хотя, на мой взгляд, фотография отразила нечто неизмеримо большее, и не потому ли, как сказано в любимом моем стихотворении, лицо покойного стало долиной боли безымянной. Не припомнить, сколько раз я видел эту фотографию раньше, но сейчас, в больничной палате, рядом с распростертой на койке женой, мне показалось, что впервые заметил стоящую позади Гайтана девочку: ей-то, похоже, и поручили поддерживать его голову. Я показал снимок М., и та сказала – нет, голову держит человек в очках, а не девочка, потому что у нее рука сжата в кулак и расположена под таким углом, что невозможно и, главное, бесполезно что-либо держать. Мне бы очень хотелось поверить жене и признать ее правоту, но не тут-то было: я видел руку девочки, видел, как она поддерживает голову Гайтана, словно плавающую над белой простыней, как на поверхности воды – и это меня тревожило.

На обороте закатанной в пластик фотографии шариковой, чтобы не размазать чернила, ручкой доктор Бенавидес написал:

*Дорогой мой пациент,*

*Завтра, в воскресенье собираюсь кое-что состряпать. Собираемся en petit comité<sup>12</sup> – употребляю французский термин, чтобы пустить вам пыль в глаза своей культурностью. Жду вас к 8 часам и жажду поговорить с вами о том, что больше уже никому не интересно. Знаю, что вы заняты делами более важными, однако клянусь сделать все, чтобы вы не пожалели. А я, по крайней мере, не пожалею виски.*

*Обнимаю.*

*Ф. Б.*

Вот при каких обстоятельствах на следующий день, 11 сентября, я направился в северную часть Боготы, где обтрепанная окраина постепенно переходит в хаотичную россыпь торговых центров и поселков, а потом, без предупреждения – в обширную пустошь с торчащими там и сям постройками, возведенными на сомнительно законных основаниях. По радио говорили о «башнях-близнецах», дикторы и звонившие в студию слушатели твердили то, что в каждую годовщину нью-йоркской трагедии 2001 года стало привычным ритуалом – каждый рассказывал, где застал его взрыв. А я где был четыре года назад? В Барселоне, доел обед. Телевизора у меня в ту пору не было, и я ничего не знал о случившемся, пока не позвонил Энрике де Эрис<sup>13</sup>: «Давай домой срочно, – сказал он. – Мир рушится». А сейчас я ехал по Девятой каррере на север, и радио передавало записи, сделанные в тот день – рассказы о том, что происходит в эту самую минуту, полные ошеломления и ярости отклики на обрушение первой башни, реакцию политиков, даже в такой ситуации неспособных выказать подлинное

---

<sup>12</sup> В узком кругу; только свои (фр.).

<sup>13</sup> Энрике де Эрис (1964–2019) – испанский издатель, писатель, переводчик и литературный критик.

негодование. Один из комментаторов сказал: «Так им и надо». «Кому?» – спросил другой, удивившись не меньше меня. «Соединенным Штатам. Десятилетиями американский империализм унижал всех. Наконец-то с ним расквитались». В эту минуту я прибыл по назначению, но не искал приметы, по которым можно было отыскать жилище Бенавидеса, а вспоминал, как через восемь месяцев после теракта прилетел в Нью-Йорк, как брал интервью у людей, потерявших близких, и какую солидарность и мужество проявил город перед лицом этих атак. Диктор говорил без умолку. Ответы в беспорядке теснились у меня в голове, но я только и смог, что выругаться вслух, ни к кому не обращаясь.

Заполняя собой весь дверной проем, на пороге меня поджидал Бенавидес. Хотя он был ненамного выше меня, я почувствовал, что он входит в разряд тех, кто всегда пригибает голову, чтобы не стукнуться о притолоку. Он носил очки с затемненными стеклами в алюминиевой оправе – они, кажется, меняют цвет в зависимости от степени освещенности – и сейчас, на пороге своего дома, под стремительно летящими по небу облаками, напоминал какого-то персонажа шпионского романа, кого-то вроде Смайли<sup>14</sup>, только более плотного и несравнимо более меланхоличного. И в свои пятьдесят с небольшим, спасаясь от свежести боготанского вечера только старым расстегнутым джемпером, он производил впечатление человека, безмерно утомленного жизнью. Чужое страдание сказывается на нас исподволь, подтачивает медленно, а Бенавидес много лет подряд имел с ним дело, разделяя с большими их боль и страх, и постоянное сопереживание истощило его душевные силы. Выйдя из привычного круга своей профессиональной деятельности, люди стареют внезапно, разом, и мы порой пытаемся объяснить эту резкую перемену всем, что под руку попадет – известными нам фактами из их жизни, несчастьем, за которым наблюдали издали, болезнью, о которой нам кто-то обмолвился. Или, как в случае с Бенавидесом, – особенностями его профессии: а я знал о них достаточно, чтобы восхищаться им, и даже не столько им самим, сколько его преданностью другим, да, восхищаться и сожалеть, что сам я никогда таким не буду.

– Вы приехали слишком рано, – сказал он.

И повел за собой во внутренний дворик, куда еще проникал сквозь слуховое оконце меркнущий вечерний свет; через несколько минут нашей оживленной беседы он снова заговорил о моем романе, расспросил о жене, о том, как я думаю назвать дочерей, сообщил, что его детям – сыну и дочери – уже слегка за двадцать; потом рассказал, что скамейку, на которой я сижу, он своими руками смастерил некогда из железнодорожной шпалы и самолично приделал ей ножки, потом объяснил, что вот эти железяки на стене – на самом деле винты или болты (не помню, как правильно они называются), прикрепляющие шпалу к рельсам. Вслед за тем я узнал, что вот этот стул – из отеля «Попайан», рухнувшего во время землетрясения 1983 года, а единственное украшение стола, стоявшего посередине комнаты, – обломок гребного винта с торгового судна. Я подумал тогда, что Бенавидес устраивает мне своего рода испытание, проверяя, разделяю ли я его иррациональный интерес к этим безмолвным свидетелям прошлого.

– Ну, ладно, пойдемте в дом, пока не выпала роса, – услышал я голос Бенавидеса, почти невидимого в сгустившемся сумраке. – Кажется, наконец собираются гости.

*Комитет* оказался не так мал, как сулил Бенавидес. Небольшой дом был заполнен приглашенными, в большинстве своем – ровесниками хозяина и, по моему ничем не подкрепленному предположению, – его коллегами. Люди толпились вокруг стола, и каждый держал в руке тарелку, рискованно балансируя ею, покуда тянулся за новым ломтиком холодного мяса или за ложкой картофельного салата или пытался совладать с непослушной спаржей, норовившей упасть с вилки. Из нескольких невидимых динамиков лился то голос Билли Холидей, то шепот Ареты Франклин. Бенавидес представил меня жене – Эстела оказалась маленькой женщиной, широкой в кости, с арабским носом и радушной улыбкой, до известной степени компенсиро-

<sup>14</sup> Персонаж серии романов Джона Ле Карре.

вавшей иронический взгляд. Потом мы обошли всю комнату (где воздух был уже разрежен от дыма), потому что хозяин желал познакомить меня кое с кем из участников застолья. Начал он с человека в массивных роговых очках, очень похожего, как мне показалось, на того, кто на снимке поддерживал голову Гайтана, и с другого, маленького, лысого и усатого, которому, чтобы протянуть мне руку, чуть не силой пришлось освободиться от хватки своей крашеной жены. «Мой пациент», – в качестве рекомендации говорил Бенавидес, и я подумал, что его забавляет эта ложь, невинная и безобидная. Мне же меж тем становилось как-то не по себе, и причину я установил без особого труда: меня одолевало беспокойство о моем будущем семействе – о девочках, с таким риском росших в утробе моей жены. И, бродя по дому Бенавидеса, я чувствовал новую, незнакомую тревогу и спрашивал себя – неужели в этом внезапном ощущении одиночества, в этой суеверной убежденности, что все самое скверное происходит в наше отсутствие, и состоит отцовство, и горько сетовал про себя, что изрекаю банальности на светской вечеринке вместо того, чтобы остаться с М., составить ей компанию и помочь, чем смогу. У меня за спиной кто-то декламировал нараспев:

Видела только роза  
Нашу любовь – рядом с ней  
Блекнет любая другая.  
Видела только роза,  
Как ты стала моей!<sup>15</sup>

Это самое скверное стихотворение Леона де Грейффа или, во всяком случае, стихотворение, недостойное его дарования, всегда казавшегося мне фантастическим, однако же его знают наизусть все без исключения колумбийцы, и оно неизменно и непременно всплывает – вот именно! – на поверхность почти всюду, где собираются люди определенного круга. Вечеринка у Бенавидеса исключением не стала. И я в очередной раз пожалел, что пришел. Под ветвистым папоротником у раздвижных дверей, выходящих в маленький и уже совсем темный сад, стояли два застекленных шкафчика, содержимое которых было явно выставлено напоказ. И я остановился перед ними, глядя на них и их не видя, потому что первоначальное намерение мое было – уклониться от светского общения, происходившего у меня за спиной. Но мало-помалу экспонаты привлекли мое внимание.

– Это медный калейдоскоп, – сказал Бенавидес. – Он незаметно подошел ко мне и, казалось, прочел мои мысли, потому, наверно, что все, кто впервые попадал к нему в дом, останавливались перед этим шкафчиком и начинали задавать вопросы. – Это настоящее жало амазонского скорпиона. Это револьвер Ле Ма 1856 года. Это скелет гремучей змеи. Маленькая, как видите, но тут размер не важен.

– Я смотрю, у вас настоящий музей, – сказал я.

Он поглядел на меня с явным удовольствием и ответил:

– Ну, более или менее. Давно собираю, много лет.

– Нет, я про ваш дом. Он весь – как музей.

Тут Бенавидес широко улыбнулся и показал на стену над шкафом – ее украшали (впрочем, не знаю, уместно ли здесь это слово, поскольку назначение выставленных предметов было явно не декоративное) две рамки.

– Это конверт от пластинки Сиднея Беше<sup>16</sup>, – сказал Бенавидес. – Беше расписался на нем и поставил дату – 2 мая 1959... А это, – прибавил он, указывая на маленький шкафчик, терпевшийся в тени большого, – это весы, которые мне когда-то привезли из Китая.

---

<sup>15</sup> Цитируются первые строчки стихотворения Леона де Грейффа «Ритуфель», написанного в 1935 году.

<sup>16</sup> Сидней Беше – легендарный джазовый кларнетист и сопрано-саксофонист. Умер в Париже 14 мая 1959 года, в свой

– Настоящие? – задал я глупый вопрос.

– Все до последнего винтика – оригинальное, – сказал Бенавидес. Прибор был очень красив: резное дерево, а с коромысла свисала перевернутая буква «Т» с двумя чашками. – Видите эту лакированную шкатулочку? Это жемчужина моей коллекции – я храню в ней разновесы. Так, теперь я хочу вас кое с кем познакомить.

Лишь в эту минуту я заметил, что хозяин подошел ко мне не один. Прячась за ним, словно от застенчивости или благоразумной осторожности, ожидал, когда его представят, бледный человек со стаканом газированной воды в руке. Под глазами у него были набрякшие мешки, хотя в остальном он выглядел не старше Бенавидеса, а из всего его необычного наряда – коричневым вельветовым костюмом и сорочка с туго накрахмаленным высоким воротом – сильнее всего бросался в глаза шейный платок из красного – ярко-красного, ослепительно-красного, красного, как плащ тореро, – фуляра. Человек протянул руку, оказавшуюся вялой и влажной, и тихим голосом – то ли неуверенным, то ли жеманным – голосом, который заставляет собеседника придвигаться ближе, чтобы разобрать слова – произнес:

– Карлос Карбальо, – расслышал я аллитерацию. – К вашим услугам.

– Карлос у нас – друг семьи, – сказал Бенавидес. – Старый, старинный друг. Уж и не припомню даже, когда его здесь не было.

– Я был другом еще папы вашего.

– Да, сперва учеником, потом другом, – подтвердил Бенавидес. – А потом – и моим. Получил вас, можно сказать, по наследству, как пару башмаков.

– Учеником? – переспросил я. – Чему же он учил сеньора Карбальо?

– Мой отец был профессором в Национальном университете, – объяснил Бенавидес. – Читал юристам курс судебной медицины. Как-нибудь порасскажу вам, Васкес. Анекдотов множество.

– Множество, – согласился Карбальо. – Лучший профессор на свете. Думаю, жизнь многих из нас изменилась от встречи с ним. – Он принял торжественный вид и, как мне показалось, слегка напыжился, прежде чем произнести: – Светоч разума.

– Давно ли он умер? – спросил я.

– В восемьдесят седьмом.

– Скоро уж двадцать лет, – вздохнул Карбальо. – Как время летит...

Я встревожился тем обстоятельством, что от человека, позволившего себе носить такой шейный платок и тонким шелком его наносить такое оскорбление тонкому вкусу, можно ждать только банальностей и общих мест. Но Карбальо явно был непредсказуем и, быть может, потому заинтересовал меня больше, чем остальные гости, так что я не попытался улизнуть под благовидным предлогом. Достал из кармана телефон, убедился, что маленькие черные черточки проступают отчетливо и что пропущенных звонков не имеется, и снова спрятал. В этот миг что-то привлекло внимание Бенавидеса. Я проследил его взгляд и увидел Эстелу, которая на другом конце гостиной жестикулировала так оживленно, что широкие рукава ее просторной блузы взлетали, открывая руки – бледные, как лягушачье брюхо. «Сейчас вернусь, – сказал Бенавидес. – Одно из двух: либо моя благоверная подавилась чем-то, либо надо принести еще льда». Карбальо тем временем говорил, как ему не хватает учителя – да, он называл его теперь «учитель», и, судя по всему, с заглавной буквы, – и особенно в те минуты, когда так нужен человек, который сумел бы преподать науку постижения сути. Фраза была просто жемчужным зерном в навозной куче, и наконец-то хоть что-то смонтировалось с красным фуляром.

– Постижения сути? – спросил я. – Что вы имеете в виду?

– Да все, что со мной происходит. А с вами – нет?

– Что именно?

– Не знаю, как выстроить мысли. Нуждаюсь в ком-то, кто бы меня направлял. Вот как сегодня, к примеру. Я в машине слушал радио, и там говорили про 11 сентября.

– Я тоже это слушал.

– И я думал – как же нам не хватает старого Бенавидеса. Он бы помог нам разглядеть истину за политическими манипуляциями, за преступным соучастием СМИ. Он бы не принял все это за чистую монету. Он бы сумел распознать обман.

– Какой обман? В чем?

– Да во всем! Не делайте вид, что не замечаете. Обман – все, что рассказывают про Аль-Каиду. И про Бен Ладена. Ведь чистейшая, прошу прощения, брехня. А она тут не проходит. Кто-нибудь поверит, что такие небоскребы, «башни-близнецы», могли рухнуть оттого лишь, что в них врезался самолет? Нет и нет – они были взорваны, и это был направленный взрыв. Старый Бенавидес моментально бы это понял.

– Ну-ка, ну-ка, – сказал я, застряв на полпути между интересом и дурнотой. – Объясните про взрыв изнутри.

– Это очень просто. Такие здания, как эти, то есть строго геометрической формы, рушатся, только если взорвать их снизу, у основания. Подрубить им, так сказать, ноги, а не бить по голове. Законы физики есть законы физики: видели вы когда-либо, чтобы дерево падало, если ему отпилить верхушку с кроной?

– Однако здание ведь – не дерево. Самолеты врезались в них и взорвались, начался сильный пожар, который нарушил всю структуру, и башни упали. Разве не так?

– Ну-у... – сказал Карбальо. – Если вам так хочется думать... – Он сделал глоток. – Но даже в этом случае здание не разрушилось бы целиком. А здесь башни осели, как в рекламном ролике, и не говорите мне, что это было не так.

– Это ничего не значит.

– Разумеется... – вздохнул Карбальо. – Ничего не значит для того, кто не желает признать очевидное. Правду говорят – хуже слепца тот, кто не хочет видеть.

– Пожалуйста, избавьте меня от дурацких изречений, – сказал я. Сам не знаю, как это вырвалась такая невежливая фраза. Впрочем, понятно – меня бесит иррациональность, и я терпеть не могу, когда прячутся за языковыми формулами и оборотами, тем более что язык выработал их примерно тысячу и одну в оправдание столь свойственной людям склонности верить, не утруждая себя доказательствами. Тем не менее я все же стараюсь сдерживать худшие свои порывы и именно такую попытку предпринял сейчас. – Меня вполне можно убедить, если начать убеждать, но вы до сей минуты к этому не приступили.

– Неужели вам все это не показалось странным?

– Что именно? То, как рухнули «башни-близнецы»? Да, я не уверен в вашей версии. Я не инженер и не...

– Не только это. А почему именно в это утро американские ВВС оказались не готовы? Почему именно в это утро система защиты воздушного пространства оказалась отключена? Почему эти атаки привели прямоиком к столь необходимой и желанной войне?

– Карлос, неужели мне вам надо объяснять, что это разные вещи? Да, Буш воспользовался терактом как предлогом, как поводом к войне, которую уже давно хотел начать. Но ради этого обречь на смерть три тысячи мирных граждан? Не верю.

– Да, кажется, что это совсем разные вещи. И политиков такого сорта можно поздравить с огромным успехом: они заставили нас поверить, будто речь идет о разных вещах, меж тем как это явления одного порядка. В наши дни только совсем наивный человек еще думает, что принцесса Диана погибла в автокатастрофе.

– Принцесса Диана? А при чем же тут принцесса Диана?

– Только совсем наивный человек может не заметить сходства между ее гибелью и смертью Мерилин. Однако есть люди, видящие ясно и зорко.

– Да что за чушь вы городите! – окрысился я. – Ничего вы не видите, а просто дурью маетесь.

В эту минуту к нам подошел Бенавидес и услышал последнюю фразу. Мне стало стыдно, но слов в свое оправдание я не нашел. Мое раздражение в самом деле было непомерно велико, и я не вполне отчетливо понимал, какой механизм запустил его: как бы ни бесили меня люди, все на свете сводящие к конспирологии, это не оправдывает грубости. Я вспомнил роман Рикардо Пилья<sup>17</sup>, где было сказано, что если ты параноик, это не значит, что у тебя нет врагов. Постоянный, продолжительный контакт с чужими маниями, которые порой принимают самые разнообразные формы и таятся иногда в головах самых спокойных на вид людей, незаметно воздействует и на нас самих, и, если не побережешься, сам не заметишь, как растратишь все свои душевные силы на дурацкие споры с людьми, жизнь положившими на то, чтобы строить безответственные домыслы. Впрочем, может быть, я несправедлив к Карбальо, и, может быть, он всего лишь передает информацию, выуженную в клоаках Интернета, а, может быть, просто испытывает необоримое влечение к более или менее тонким провокациям и к скандалам со впечатлительными людьми. Или все еще проще: Карбальо – человек ущербный, и его убежденность служит защитой от непредсказуемости жизни – жизни, которая каким-то неведомым и непостижимым образом некогда нанесла ему этот самый ущерб.

Бенавидес почувствовал стусившееся напряжение, а равно и то, что после моей неучливой выходки напряжение это грозит перерасти еще во что-нибудь. И протянул мне стакан виски, при этом извинившись: «Я так долго к вам шел, что салфетка уже мокрая». Я молча принял стакан и почувствовал в руке твердые грани массивного тяжелого стекла. Карбальо тоже промолчал, уставившись в пол. После продолжительной и неловкой паузы Бенавидес сказал:

– Карлос, а ну-ка, отгадайте, кому Васкес приходится племянником.

Карбальо неохотно принял участие в этой викторине:

– И кому же?

– Его родной дядюшка – Хосе Мария Вильяреаль<sup>18</sup>! – объявил Бенавидес.

Глаза Карбальо, как мне показалось, задвигались. Не могу сказать – «он их вытарашил», как принято говорить, описывая чье-то изумление или восхищение, но мелькнуло в них нечто такое, что меня заинтересовало: причем не тем, что они выразили (а что именно они выразили, еще предстояло выяснить), а тем, что он совершенно явно попытался скрыть. «Хосе Мария Вильяреаль – ваш дядя?» – переспросил он. И явно насторожился, как в ту минуту, когда говорил о башнях-близнецах, а я покуда пытался сообразить, откуда Бенавидес мог узнать об этом родстве. Впрочем, ничего удивительного – мой дядя был некогда видным деятелем Консервативной партии, а в колумбийском политическом бомонде все всех знают. Так или иначе, сведение такого рода могло – или даже не могло – не прозвучать в ходе нашего первого разговора с доктором в кафетерии клиники. Чем оно могло заинтересовать Карбальо? Я пока не знал. Было очевидно, что Бенавидес, упомянув моего дядю, старался умерить неприязнь, которая буквально витала в воздухе, когда он появился. И столь же очевидно, что это ему удалось немедленно и в полной мере.

– А вы с ним были близки? – спросил Карбальо. – То есть я хотел сказать – вы хорошо знали вашего дядюшку? Много с ним общались?

– Меньше, чем хотелось бы. Когда он умер, мне едва исполнилось двадцать три года.

– Отчего же он умер?

---

<sup>17</sup> Рикардо Пилья (Рикардо Эмилио Пилья Ренси) – аргентинский писатель, сценарист и литературный критик, автор остросюжетных романов.

<sup>18</sup> Хосе Мария Вильяреаль – колумбийский политик консервативного толка, бывший губернатор провинции Бойяка. В частности, известен тем, что 9 апреля 1948 года направил в Боготу подчинившиеся лично ему отряды вооруженной полиции для оказания помощи правительству в подавлении восстания, начавшегося после убийства Гайтана.

– Не знаю. Своей смертью. Естественной. – Я посмотрел на Бенавидеса. – А вы откуда его знаете?

– Еще бы мне его не знать! – Карбальо как-то распрямылся, и голос его обрел прежнюю живость; наш конфликт, по всему судя, был предан забвению. – Франсиско, принесите, пожалуйста, книгу – покажем.

– Не сейчас, не сейчас. Не забудьте, что у меня гости.

– Принесите, прошу вас. Сделайте это ради меня.

– Что за книга? – спросил я.

– Вот он принесет – и увидите.

Бенавидес скорчил потешную гримасу, какие в ходу у детей, когда они выполняют поручение родителей, которое считают прихотью. Исчез в соседней комнате и тотчас возник снова: отыскать книгу, о которой шла речь, труда ему не составило: либо он как раз читал ее, либо содержал свою библиотеку в таком неукоснительном порядке, что мог найти искомое, не шаря по стеллажам, не водя неверными пальцами по нетерпеливым корешкам. И я узнал красный картонный переплет еще до того, как Бенавидес протянул книгу Карбальо: это были воспоминания Габриэля Гарсия Маркеса «Жить, чтобы рассказать об этом», опубликованные три года назад и заполнившие сейчас полки всех библиотек колумбийских и значительную часть иных. Карбальо принял том и принялся перелистывать, ища нужную страницу, и еще прежде чем нашел, память и шестое чувство уже подсказали мне, что именно он найдет. Мог бы, впрочем, и раньше догадаться – речь пойдет о 9 апреля.

– Вот, – сказал он.

Потом вручил книгу мне и показал пальцем, где читать: это была 352-я страница того же издания, что хранилась у меня дома, в Барселоне. Маркес вспоминает там о покушении на Гайтана, случившемся в ту пору, когда он в Боготе изучал юриспруденцию, не чувствуя ни малейшего призвания к этому, и жил – уж как жилось, из кулька, как говорится, да в рогожку – в пансионе на Восьмой каррере, в центре города, не дальше двухсот шагов от того места, где Роа Сьерра выпустил четыре роковые пули. Гарсия Маркес пишет так: «В соседнем департаменте Бойяка, знаменитом своими либеральными традициями и нынешним твердокаменным консерватизмом, губернатор Хосе Мария Вильяреаль, истинный зубр-реакционер, не только подавил едва ли не в зародыше местные беспорядки, но и отправил войска в столицу». Определение моего дядюшки как «зубра-реакционера» следует воспринимать отчасти даже как лестное, ибо относится к человеку, по приказу президента Ospina приведенному в порядок национальную полицию, куда людей набирали по единственному критерию – членству в Консервативной партии. Незадолго до 9 апреля эта чрезмерно политизированная структура уже, так сказать, вышла из утробы матери и вскоре сделалась репрессивным органом с самой одиозной репутацией.

– Вы знали об этом, Васкес? – спросил Бенавидес. – Знали, что здесь говорится о вашем дядюшке?

– Знал.

– «Зубр-реакционер», – повторил Карбальо.

– Мы с ним никогда не говорили о политике.

– Неужто? Никогда не говорили о 9 апреля?

– Да я уж и не помню... Какие-то забавные случаи рассказывал, это было.

– О-о, вот это мне интересно! – воскликнул Карбальо. – Правда же, Франсиско, нам это интересно?

– Правда, – ответил Бенавидес.

– Ну, расскажите, послушаем! – сказал Карбальо.

– Да я даже не знаю... Много всякого было... Вот, например, однажды к нему пришел его друг – человек либеральных воззрений – и застал дядюшку за обедом. «Чепе<sup>19</sup>, дорогой, – сказал он ему. – Переночуй сегодня где-нибудь в другом месте». «Это с какой же стати?» – спросил дядюшка. А тот ему ответил: «Потому что сегодня ночью тебя убьют». И подобных случаев было множество.

– А про девятое апреля? – допытывался Карбальо. – Про девятое апреля никогда не упоминал?

– Нет, со мной – никогда. Правда, дал несколько интервью, и не более того.

– Но он наверняка знал прорву всего, а?

– Прорву – чего?

– Ну он же был в ту пору губернатором Бойяка. Это всем известно. Он получал информацию, потому и послал полицию в Боготу. Нетрудно себе представить, что он и потом был в полном курсе событий. Он задавал вопросы, он наверняка разговаривал с правительством, не так ли? И за свою долгую жизнь он, конечно, встречался со множеством людей... и знал, разумеется, подоплеку очень многих событий, и в том числе тех, которые, как бы это сказать, были не на свету...

– Не знаю.

– Понимаю... – протянул Карбальо. – Скажите, а дядюшка ваш никогда не упоминал одного *элегантного мужчину*?

Задавая этот вопрос, он отвел глаза. Я прекрасно это помню, потому что как раз в этот миг встретил взгляд Бенавидеса – отсутствующий, или, лучше сказать, ускользающий: я и поймал-то его с трудом, как если бы доктор изобразил рассеянность и внезапную потерю интереса к предмету разговора. И я сейчас же понял, что это интересует его больше, нежели что иное, однако у меня не было оснований подозревать скрытые намерения в этом ничего якобы не значащем диалоге.

– Какого мужчину? – переспросил я.

Пальцы Карбальо вновь запорхали по страницам Маркеса. И вот нашли, что искали:

– Читайте, – и прикрыл подушечкой указательного пальца какое-то слово. – С этого места.

«После убийства Гайтана, – писал Маркес, – за Хуаном Роа Сьеррой погналась разъяренная толпа, и ему, чтобы избежать самосуда, ничего не оставалось, как спрятаться в аптеке “Гранада”. Его втолкнули туда несколько полицейских и хозяин аптеки, и он уже считал себя в безопасности. Но дальше началось непредвиденное. Какой-то мужчина в сером костюме-тройке и с манерами английского лорда принялся горячить толпу, причем так красноречиво и так властно, что слова его возымели действие, и аптекарь сам поднял железные жалюзи, позволив нескольким чистильщикам обуви ворваться в свое заведение и выволочь наружу перепуганного злоумышленника. И его забили насмерть здесь же, прямо посреди улицы, на глазах у полиции и под страстные речи элегантного господина. А тот принялся кричать: “На дворец! На дворец!”». Далее у Маркеса сказано:

«И полвека спустя я отчетливо помню этого человека, подстрекавшего толпу у аптеки, хотя не встретил упоминаний о нем ни в одном из бесчисленных воспоминаний очевидцев. Я видел его совсем близко – алебастровая кожа, великолепно сшитый костюм и до миллиметра выверенные движения. Он столь сильно привлек мое внимание, что я не сводил с него глаз, пока – сразу после того, как унесли труп убийцы – он не сел в какой-то новехонький автомобиль и с этой минуты бесследно исчез из исторической памяти. Да и из моей тоже, откровенно говоря, пока спустя много лет, когда я уже был журналистом, не осенило меня, что этот джентльмен подсунил толпе ложного убийцу, чтобы скрыть личность настоящего».

---

<sup>19</sup> Чепе (Chere) – принятая в Колумбии уменьшительная форма имени Хосе.

– Чтобы скрыть личность настоящего, – повторил Карбальо одновременно со мной, так что на фоне застольного шума прозвучал наш нестройный дуэт. – Странно это, вам не кажется?

– Кажется, – ответил я.

– И это говорит не какой-нибудь проходимец, а сам Гарсия Маркес. Вернее, пишет в своих мемуарах. Очень странно. И не говорите мне, что тут нет какого-то подвоха. В том, что он все это якобы забыл.

– Есть, конечно. Убийство, которое до сих пор не раскрыто. Убийство, окруженное конспирологическими версиями. Неудивительно, что вас это так заинтересовало, Карлос: я уже заметил, что это – ваш мир. Но не уверен, что следует воспринимать как безусловную истину пассаж, вышедший из-под пера романиста. Даже если романист этот – Гарсия Маркес.

Карбальо был не то что разочарован, а раздосадован. Он отступил на шаг (бывают разногласия столь острые, что чувствуешь – на тебя напали, и поневоле сам становишься в боксерскую стойку), закрыл книгу и, не выпуская ее из рук, заложил их за спину.

– Понимаю, – сказал он язвительно. – А вы что скажете, Франсиско? Что сделать, чтобы вернуться из этого мира, где все мы безумны?

– Ну, Карлос, Карлос, не становитесь в позу... Он всего лишь хотел сказать, что...

– Я отлично знаю, что он хотел сказать. Он и раньше успел сообщить мне, что я дурью маюсь.

– Нет-нет, извините меня за это, – сказал я. – Я вовсе не...

– Но есть ведь и те, кто считает иначе, не так ли, Франсиско? Есть такие, кто остается зрячим среди слепцов. Но это не ваш мир, Васкес. В вашем мире бывают только совпадения. Совпадение – что рушатся башни-близнецы, которым совершенно не с чего рушиться. Совпадение – что перед аптекой «Гранада» оказался человек, перед которым хозяин открыл ее, даже не дожидаясь, пока тот его об этом попросит. Совпадение – что имя вашего дядюшки появляется через четырнадцать страниц после описания этого происшествия.

– Вот теперь уж я ничего не понимаю. Дядюшка-то мой здесь с какого боку?

– Не знаю! – сказал Карбальо. – И вы не знаете, потому что никогда ни о чем его не спрашивали. И не знаете, был ли он знаком с субъектом, который сделал так, что Роа Сьерра убили среди бела дня и на людной улице, а потом сел в роскошный автомобиль и исчез навсегда. Мы говорим с вами о самом значительном событии в вашей стране, а вам кажется, что оно никакого значения не имеет. Ваш родственник участвовал в этом историческом событии и мог знать, кто этот таинственный незнакомец, ибо в ту эпоху все друг друга знали. А вам кажется, что это выведенного яйца не стоит. Все вы одинаковы – переезжаете в другую страну, а свою предаете... пока только забвению. Впрочем, мне сейчас пришло в голову, что, может быть, дело обстоит иначе. Может быть, вы просто выгораживаете своего дядюшку. И ничего не забыли, и раскрепасно знаете, что там было на самом деле. Знаете, что Хосе Мария Вильярель организовывал в своей провинции полицию. Знаете, что потом эта полиция стала бандой убийц. И что же вы должны чувствовать, думая об этом? Вы стараетесь собрать недостающие сведения – сейчас или раньше? Или вам в самом деле наплевать на это и вы уверены, что вас не касаются события, произошедшие за четверть века до вашего появления на свет? Да, несомненно, вы именно так и считаете, и пребываете в стойком убеждении, будто за чужой щекой зуб не болит. Но знаете, что я вам скажу? Я рад, что волею судьбы ваши дети появятся на свет здесь. Что вашей супруге придется рожать у нас, в Колумбии. И это преподаст вам урок и, быть может, чуть поколеблет ваш эгоизм. И ваши дочери сумеют внушить вам, что это такое – быть колумбийцем. Ну, разумеется, в том случае, если им суждено появиться на свет, не так ли? Если они не умрут при рождении, не изойдут поносом, как зараженные глистами котята. Но и это будет вам уроком, вот что я думаю.

Все, что произошло потом, я помню, как в тумане. Помню, однако, что в следующую секунду в руке у меня уже не было стакана с виски, а потом я понял, что швырнул его в лицо

Карбальо, и еще помню, как стакан, разлетаясь вдребезги, грохнулся об пол, а Карбальо, упав на колени, закрыл лицо руками, а из разбитого носа, пачкая красный фуляр, хлынула кровь – красная на красном, темная («черная кровь», как говорили древние греки) на ярко-красном, как мулета, – хлынула и потекла вниз по левой руке, пятная манжету и белый тканевый ремешок часов; я еще успел подумать, что очистить кровь с такого будет куда трудней, чем с кожного. Еще помню, как Карбальо закричал от боли или, быть может, от страха: многие люди пугаются при виде крови. Еще помню, как Бенавидес очень крепко, властно и решительно схватил меня за руку (дело было почти десять лет назад, но ощущение сильных пальцев, сжимающих мое предплечье, чувствую до сих пор) и повлек за собой через всю гостиную, мимо шарахавшихся в стороны людей, под их изумленными или откровенно осуждающими взглядами, а краем глаза я успел заметить, как хозяйка Эстела бежит к раненому, держа в руках пластиковый мешочек со льдом, а другая женщина – скорей всего, прислуга – с выражением досады на лице поспешает к месту происшествия с веником и совком. Мне хватило времени подумать, что Бенавидес выставит меня из дому. И еще – чтобы пожалеть об этом, об окончании отношений, которые могли бы перерасти в дружбу, да не сложилось, как видно, и, корчась на жаровне вины, представил, как распахивается дверь и меня пинком выбрасывает на улицу. Я почувствовал, что устал, да еще, быть может, выпил чуть больше обычного, хотя последнее сомнительно. Но я, как в полусне, готов был принять последствия моих действий, а потому уже начал складывать в голове извинения и оправдания и даже, кажется, кое-что произнес, когда вдруг осознал, что Бенавидес ведет меня не к парадному входу (и выходу), а к лестнице. «Поднимайтесь, первая дверь налево, заходите, запирайтесь и ждите меня, – сказал он, вкладывая мне в руку ключ. – Никому, кроме меня, не открывайте. Я приду, как только смогу. Нам, кажется, есть о чем поговорить».

## II. Останки мужей достославных

Не знаю, как долго я просидел в этой заставленной вещами комнате без окон, где едва чувствовалось дуновение воздуха. Она явно была задумана как суверенная территория хозяина. Там стояло кресло, где так удобно было читать в потоке света от большой лампы на полу, скорее похожей на старинный парикмахерский фен, и в кресло это я уселся, побродив по комнате и не найдя иного места, предназначенного для визитеров: кабинет доктора Бенавидеса не предусматривал приема гостей. Возле кресла на столике стопкой громоздились штук десять книг, и я от нечего делать рассматривал их, но так и не решился взять и полистать какую-нибудь из опасений нарушить тайный порядок, в котором они были сложены. Разглядел биографию Жана Жореса и Плутарховы «Сравнительные жизнеописания», а также книгу Артуро Алапе<sup>20</sup>, посвященную Боготасо, и еще одну, потоньше, переплетенную в кожу: имя автора разглядеть я не смог, а в названии мне почудилось нечто памфлетное: «О том, почему политический либерализм в Колумбии – не грех». В середине самой длинной стены стоял письменный стол, прямоугольная поверхность которого, обитая зеленой кожей, была организована в таком безупречно выверенном, тщательном порядке, что на ней, не толкаясь локтями, помещались, придавленные пеналом кустарного вида, две кипы бумаг: одна состояла из запечатанных конвертов, другая – из развернутых счетов (редкая уступка житейской прозе в этом святилище, отведенном, судя по всему, для различных видов медитации). Господствующие же высоты стола захватили два прибора – сканер и высившийся, как идол, громадный белый монитор. Нет, сейчас же подумал я, не как идол, а как огромное всевидящее око, всевидящее и всезнающее. Понимая, что поступаю нелепо, я все же убедился, что компьютер или, по крайней мере, его камера выключена, и за мной, стало быть, никто не следит.

Что же все-таки произошло там, внизу? Я все еще не вполне отчетливо помнил подробности. И сам удивлялся моей внезапной ярости, хотя, как и многие люди моего поколения, затаенно храню ее неприкосновенный запас – это следствие того, что рос я во времена, когда город, мой город, превратился в минное поле, когда большое насилие с его бомбами и стрельбой запускало в нас свой подлый механизм воспроизведения: каждый припомнит, с какой готовностью он выскакивал из машины и затевал мордобой по самому пустячному дорожному поводу, и, уверен, не я один не раз смотрел в черную дырку пистолетного дула, направленного в лицо, и не меня одного завораживали сцены насилия, где бы ни происходили они – вживе ли на футбольном поле, ставшем полем битвы, на снятых ли скрытой камерой кадрах в мадридском метро или на бензоколонке в Буэнос-Айресе – сцены, которые я выуживал в Интернете, получая от них должный выброс адреналина. И хотя этим никак нельзя было оправдать мое поведение, его можно было, по крайней мере, объяснить состоянием моих нервов, истерзанных бесконечным напряжением и постоянным недосыпом. И я ухватился за это: да я себя не помнил, был сам не свой, но доктор Бенавидес и его супруга должны принять в расчет – в тридцати кварталах отсюда мои нерожденные дочери балансируют между жизнью и смертью, и каждый новый день чреват – да, вот именно – преждевременными родами, более чем реально угрожающими благополучию моему и моей жены. Мудрено ли, что от реплики, которую позволил себе Карбальо, я на миг потерял голову?

С другой стороны, много ли он знал о моих отношениях с дядюшкой? Очевидно, что ничего конкретного ему известно не было, но очевидно и то, что они с Бенавидесом говорили обо мне. Когда? Неужели доктор пригласил меня к себе с тайной целью познакомиться с Карбальо? Зачем? Затем, что я прихожусь родным племянником человеку, своими глазами виде-

---

<sup>20</sup> Артуро Алапе (наст. имя Карлос Артуро Руис) – колумбийский журналист, историк, писатель, сценарист и художник, автор ряда книг, посвященных восстанию в Боготе и гибели Хорхе Гайтана.

шему все, что случилось 9 апреля и сыгравшему решающую роль в событиях, которые последовали за гибелью Гайтана. Да, вот это, по крайней мере, сомнений не вызывает. Политический акт и часть официальной истории: верный режиму губернатор посылает тысячу человек обуздать мятеж в столице. И, разумеется, я, как и все, читал воспоминания Гарсия Маркеса и, как и все, был смущен и даже встревожен тем, с какой прямоотой, без обиняков и околичностей, наш величайший романист и одновременно наш влиятельнейший интеллеktуал-мыслитель признаёт существование некой тайной истины. На этой странице не было ничего нового: рассказывая об элегантном джентльмене и его предположительном участии в убийстве убийцы, Маркес черным по белому заявляет – он глубоко убежден, что Хуан Роа Сьерра был не единственным участником покушения, которое на самом деле стало результатом тщательно спланированного заговора. Слова «этот джентльмен сумел подsunуть толпе ложного убийцу, чтобы скрыть личность настоящего», предстали мне теперь в новом свете. Раньше мне как-то не приходило в голову, что мой дядюшка мог знать хотя бы имя этого джентльмена. Конечно, в ту пору в высших политических кругах все были знакомы со всеми, но это уж совершенно абсурдная идея. Абсурдная, говоришь? Да, абсурдная. Полно, так ли это? В каждом слове Карбальо звучала глубочайшая убежденность в том, что Хосе Мария Вильяреаль в силу своего положения вполне мог знать нечто такое, что пролило бы хоть какой-то свет свет на личность неизвестного, сумевшего «натравить толпу на лжеубийцу и таким образом сохранить в тайне личность убийцы истинного».

Я все еще предавался этим мучительным думам, когда в дверь постучали.

Отворив, я увидел перед собой сгорбленную и осунувшуюся версию доктора Бенавидеса, которого недавние происшествия изнурили и довели до изнеможения. Он держал поднос с двумя чашками и термосом – все было цвета фуксии, – какой берут с собой бегуны на длинные дистанции, с той лишь разницей, что в этом оказалась не вода и не энергетический напиток, а крепкий черный кофе. «Я – нет, спасибо», – сказал я, а он ответил: «Вы – да. Пожалуйста». И налил мне чашку. «Ах, Васкес, – продолжил он, – в какую передрыгу я влип сегодня по вашей милости».

– Да уж, – сказал я. – Прошу у вас прощения, Франсиско. Сам не знаю, что на меня нашло.

– Не знаете? А я вот знаю. Это случилось бы с каждым, кто оказался бы на вашем месте. Еще я знаю, что Карбальо сам напросился. Но это вовсе не значит, будто я не вляпался. – Он отошел в угол кабинета и нажал кнопку на каком-то устройстве с решеткой впереди: температура в комнате опустилась на несколько градусов, и у меня возникло ощущение, что воздух уже не такой влажный. – Вы, друг мой, сорвали званый ужин. Испортили праздник мне и моей жене.

– Давайте, я спущусь к гостям, – предложил я. – Извинюсь перед ними.

– Не беспокойтесь. Все уже разошлись.

– И Карбальо тоже?

– И Карбальо тоже, – сказал Бенавидес. – В клинику поехал. Нос починять.

Он подошел к письменному столу, уселся за него и включил компьютер.

– Карбальо – личность весьма своеобразная и может сойти за полоумного. Не отрицаю. Но вместе с тем он человек отважный, страстный – до такой степени, что руки чешутся врезать ему. Но мне нравятся люди, которые если уж верят во что-то, так – с неподдельной страстью. Слабость у меня к ним, что тут поделаешь. И, видит бог, именно таков Карбальо. – Говоря все это, Бенавидес водил мышкой по зеленой коже столешницы, и изображения на экране менялись: открывались и наплывали друг на друга окна, а в глубине появилась картинка, которую он выбрал фоном. Я не удивился, узнав одну из знаменитых фотографий Сади Гонсалеса, где был запечатлен трамвай, подожженный во время беспорядков 9 апреля. Она буквально источала дух насилия и кое-что говорил о человеке, который каждый раз, включая компьютер, желает видеть ее перед собой, но я предпочел не задумываться об этом: при желании в картинке можно

было увидеть не опасность и разрушения того злосчастного дня, а всего лишь напоминание, простое историческое свидетельство.

– Вы уже выпили свой кофе? – осведомился Бенавидес.

Я показал ему пустую чашку, где на доньшке остались коричневые круги, по которым кое-кто (не я) умеет гадать.

– Выпил.

– Очень хорошо. И пришли в себя или сварить еще?

– Я давно очнулся, доктор. Там, внизу, было другое... Это было...

– Умоляю, Васкес, не называйте меня доктором. Во-первых, в нашей стране это слово обесценено. Всех, всех и каждого здесь называют так. Во-вторых, я не ваш врач. В-третьих, мы друзья. Разве не так?

– Так, доктор. То есть Франсиско. Так, Франсиско.

– А друзья не признают титулов и званий. Или признают?

– Нет, Франсиско.

– Вас ведь тоже можно называть доктором, Васкес. Вы избрали стезю сочинительства, но сначала стали дипломированным адвокатом, а к ним в этой стране тоже обращаются «доктор», не правда ли?

– Правда.

– А знаете, почему я так не поступаю?

– Потому что мы друзья.

– Точно! Потому что мы друзья. И по этой же причине я вам доверяю. А вы – мне, я так полагаю?

– Да, Франсиско. Я вам доверяю.

– Совершенно верно. А коль скоро мы друг другу доверяем, я собираюсь сделать нечто такое, что возможно только меж теми, кто друг другу доверяет. Я сделаю это, потому что доверяю вам и потому что должен кое-что вам объяснить. Вы мне должны новый стакан для виски и дружеский ужин, а я вам – объяснения. И даже если б я вам не был должен – я бы вам их дал. Полагаю, вы сможете понять то, что я вам собираюсь показать. Понять и оценить. А это не всякому по плечу. Надеюсь, вам – да. Дай бог, дай бог, чтобы я не ошибся. Идите сюда, – велел он, указующим перстом очертив пространство подле своего кресла и перед столом с бумагами. – Сюда, сюда.

Я повиновался и оказался у монитора, который теперь преобразился. Все его пространство – если не считать нескольких иконок внизу, какие бывают практически на всяком мониторе – занимало изображение, и я сейчас же узнал рентгеновский снимок грудной клетки, а на нем меж тенями ребер виднелось прильнувшее к позвоночному столбу темное пятно, размером и формой напоминающее фасолину. Да, то ли я так и сказал: «Фасолина!», а то ли спросил: «А что это за фасолина такая?», и Бенавидес объяснил мне, что это никакая не фасолина, а сплюснутая от удара о ребра пуля – одна из тех четырех, которыми 9 апреля 1948 года был убит Хорхе Эльсер Гайтан.

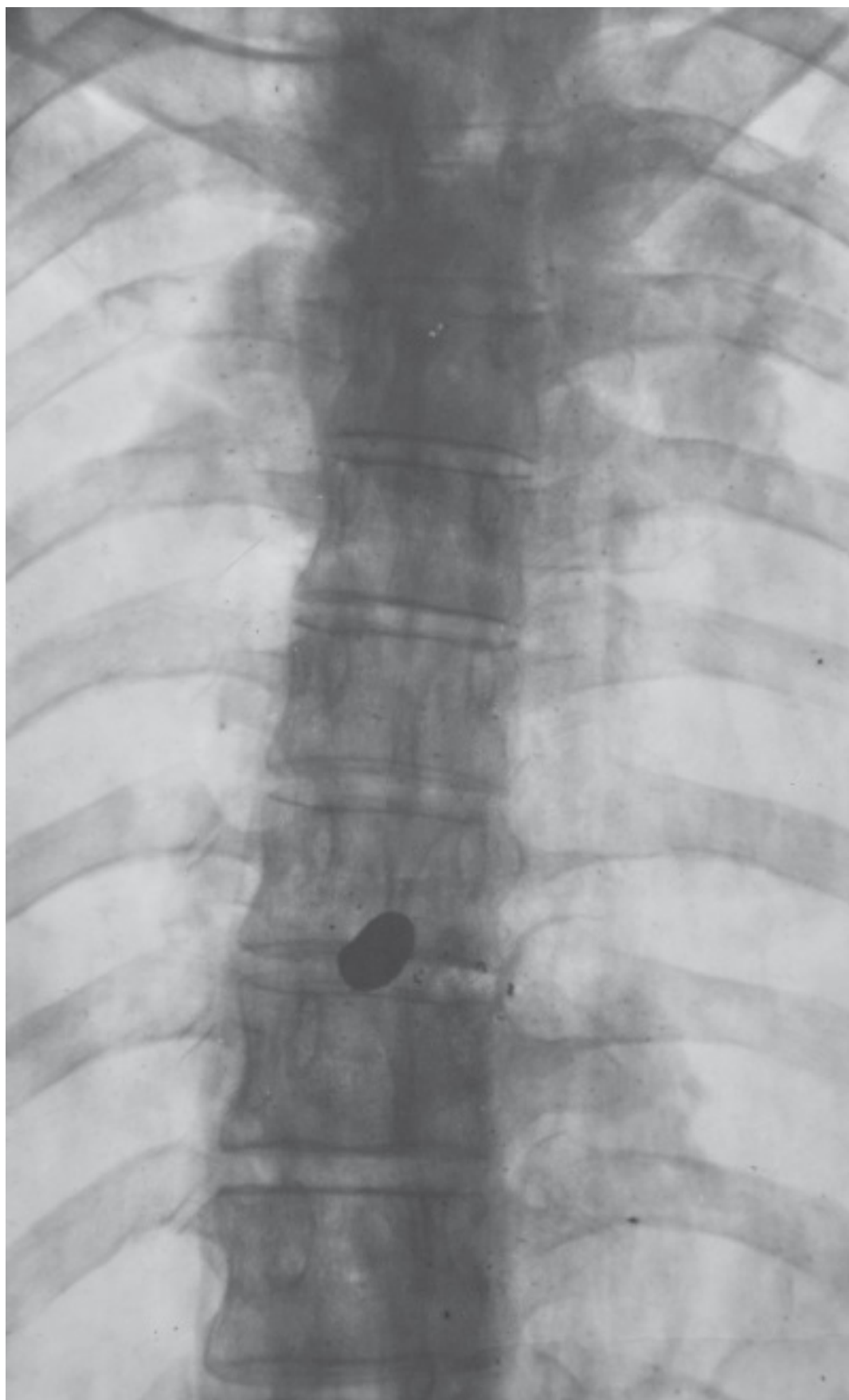
Кости Гайтана. Пуля, оборвавшая жизнь Гайтана. Я видел их, они были передо мной. Я понимал, что удостоился высокой чести. И подумал об уже мертвом лице Гайтана на знаменитом снимке и о том, как пришел в его дом в университетскую пору, когда начал интересоваться жизнью и смертью этого человека и их значением для нас, колумбийцев. Вспомнил застекленную витрину с костюмом-тройкой, который надел Гайтан в день своей гибели, и отверстия, оставленные в темно-синем сукне пулями Хуана Роа Сьерры. Одну из них я сейчас увидел в теле Гайтана. Бенавидес тоном хорошего преподавателя давал пояснения и комментарии, считал ребра и показывал невидимые внутренние органы, нараспев и наизусть, как стихи, декламируя целые фразы из протокола вскрытия. И одна из этих фраз – «не задета сердечная сумка

и инфаркта следов никаких» – показалась мне достойной лучшей участи, но время сейчас явно было неподходящее для поэзии. Я мог лишь спрашивать себя, каким же это образом все это оказалось в руках Бенавидеса. А потом перестал спрашивать про себя и спросил про него, то есть вслух:

– Как же это возможно? Каким же образом это оказалось у вас в руках?

– Оригинал хранится у меня в ящике, – ответил Бенавидес на вопрос, который ему не задавали. – Ничего себе, а? И никому невдомек, что он здесь.

– Но откуда же он взялся?



Бенавидес позволил, чтобы на лице у него появилось нечто вроде улыбки: «Отец принес», – сказал он. Не «папа», как говорим мы, колумбийцы, даже став взрослыми и даже в

разговоре с другими взрослыми, вовсе нам незнакомыми. В других испаноязычных странах такая манера гарантированно воспринимается как неуместная ребячливость или жеманство. У нас не так. А вот доктор Бенавидес неизменно называл отца «отец». И мне это по неведомой причине нравилось.

– Принес? – спросил я. – Откуда? Как к нему попал снимок?

– Хорошо, что вы спросили, – сказал Бенавидес. – Теперь наберитесь терпения, а я расскажу вам всю историю, не комкая.

Он встал с кресла – черного, современного кресла на колесиках, с сетчатой спинкой и какими-то рычажками и рукоятками неведомого назначения, – подтащил его к креслу для чтения и знаком показал: *садитесь сюда*. Зажегся парикмахерский фен, сам Бенавидес тоже уселся, скрестил руки на груди поверх пуговиц джемпера и начал рассказывать историю своего отца.

Дон Луис Анхель Бенавидес изучал бактериологию в Национальном университете. Слабый интерес к предмету не помешал ему набрать лучший балл, и на последнем курсе он получил предложение, перевернувшее его жизнь: по рекомендации его наставника, легендарного доктора Гильермо Урибе Куалья, университетские руководители предложили ему создать лабораторию судебной медицины. И больше он уже не открывал ни единой книги по бактериологии. Побывал в США на стажировке по криминалистике, а по возвращении в Колумбию вскоре сделался светилом в своей области и виднейшим специалистом своего времени. «Преподавал в Институте Криминалистики на Юридическом Факультете, – сказал Бенавидес. – Не многовато ли заглавных букв для пары аудиторий, как по-вашему, а? Но, так или иначе, не меньше двадцати колумбийских судей, если знают хоть что-то из этой области, то лишь благодаря лекциям моего отца». В течение всей своей долгой научной карьеры Бенавидес-старший коллекционировал разного рода редкости и диковины – одни демонстрировал на занятиях, другие получал в подарок от бесчисленных учеников и коллег: старинное оружие, огнестрельное и холодное, кусок лунного грунта, череп так называемого *Homo habilis*<sup>21</sup> – и однажды, оглядев свои владения, поскущел лицом: «Мать твою, – сказал он. – Это ведь все равно что жить в музее!» И в тот же миг, словно иначе и быть не могло, объявил о создании и открыл там же, в Национальном университете, Музей криминалистики своего имени.

«В шестидесятые годы, – продолжал повествование Бенавидес, – когда в университете каждый месяц происходили забастовки, отец перенес домой самые ценные экспонаты. Ну, чтобы сохранить их в случае чего, вы же понимаете. Ибо никто не знал, во что перерастет такая забастовка – в какой камнепад, в какой погром, в какие драки с полицией. Однако все обошлось. Студенты остервенело швыряли камни, однако ни один булыжник не попал в окна музея. Они его любили, они его берегли. Я своими глазами все это видел, Васкес, я все помню. Отец к этому времени оборудовал в задней части дома, за кухней, лабораторию и теперь мало-помалу превращал ее в филиал своего музея. Вот туда он и стал относить свои экспонаты из университета. Например, рентгенограммы, которые были очень важны для него. Я не раз видел, как он во дворе рассматривает их на просвет, пытаясь что-то обнаружить на снимках – бог его знает, что именно, и в такие минуты он всегда напоминал мне музыканта, читающего партитуру. Это одно из самых отчетливых моих воспоминаний о нем – отец, выбрав момент, когда света побольше, стоит у окна и пытается различить в изображении некую скрытую истину».

Луис Анхель Бенавидес умер в 1987 году. «И в один прекрасный день появился мой брат и сообщил мне, что имеется страховой полис. И если мы не хотим его лишиться и допустить, чтобы он пропал, то должны шевелиться попроворней и сделать очередной взнос... Подробностей не помню, но надо было провести инвентаризацию музейного имущества. А там к этому

---

<sup>21</sup> *Homo habilis* – человек умелый (*лат.*), первый представитель человеческого рода, ископаемые останки которого были обнаружены в ноябре 1960 года.

времени было уже порядочное количество экспонатов – тысячи полторы-две. Кто мог справиться с этим? Это была работа для Геракла, но вдобавок еще и куча всяких административных формальностей, на которые ни у меня, ни у братьев не было ни времени, ни желания. Тогда мы связались с давней ученицей отца, дамой, работавшей в Административном департаменте безопасности – так называется у нас эта структура, – и та согласилась помочь нам, и уже начала инвентаризацию, как взорвалась бомба».

И взорвалась в здании АДБ. Мне в ту пору было шестнадцать лет, и я учился на последнем курсе бакалавриата, когда Педро Эскобар и Гонсало Родригес Гача отправили автобус с полутонной динамита к зданию штаб-квартиры АДБ. Теракт, строго говоря, был направлен не против самого аппарата госбезопасности, а против генерала, который его возглавлял, – для Медельинского картеля он в тот момент символизировал врага, и картель объявил ему войну. И 6 декабря 1989 года в 8.30 утра квартал Палокемао содрогнулся от взрыва. Я сидел в аудитории на другом конце города и отлично помню, с каким лицом профессор сообщил нам эту новость, и еще помню, что занятия отменили, и как я возвращался домой, и странную смесь ощущений – удивления, непонимания, растерянности, – которые потом научился накрепко связывать с теми днями, когда терроризм сделался для нас рутиной, даже если в это время мы, по счастью, оказывались далеко от места происшествия. От взрыва у здания АДБ погибло около восьмидесяти человек, больше шестисот было ранено. Среди убитых были клерки, агенты службы безопасности, ничего не подозревавшие прохожие, на которых обрушились бетонные блоки. Среди жертв оказалась и ученица доктора Бенавидеса-старшего.

– Она стала одной из тех, кто погиб там? – спросил я.

– Точно так, – ответил Бенавидес-младший, – она стала одной из тех, кто погиб там.

– Инвентаризация казалась бесконечной, – продолжал он. – И однажды я отправился в музей, задумав поглядеть на экспонаты и решить, смогу ли я с этим когда-нибудь справиться – и обнаружил, что он закрыт. Дело было в начале 1990 года, но занятия еще не начались. На факультете я увидел лишь двоих субъектов в пиджаках и при галстуках. С первого взгляда стало ясно – это не преподаватели. Один носил такие омерзительные усики а la Родольфо Валентино<sup>22</sup>, знаете, кто это? Ну, а меня от людей с такими усиками всегда воротит. И вот он прохаживается взад и вперед, заложив руки за спину, и говорит своему спутнику, что так дело не пойдет и музей надо закрывать. И тут я перепугался, потому что мигом представил все, что тут будет – как эти сокровища, столь драгоценные для моего отца, складывают в ящики и отвозят гнить в пыли и сырости в каком-нибудь богом забытом подвале. И как-то само собой так вышло, что я, нимало не устыдясь и не сделав над собой никакого усилия, схватил сумку и положил в нее что под руку попало, а попались три предмета. И медленно, так медленно, как только мог, чтобы никто ничего не заподозрил, вышел вон. И думаю, правильно сделал, потому что вскоре музей в самом деле закрыли, как и обещали. Закрыли по-настоящему – заложили дверь кирпичом. Да, попросту замуровали со всем, что было внутри. А вы видели, Васкес, вы же видели, какие сокровища там хранились.

– И рентгеновский снимок – одно из них.

– Одно из тех, что я спас.

– Но не только это?

Бенавидес поднялся и подошел к левой стене. И обеими руками снял единственное ее украшение – взятый в рамку плакат, выпущенный некогда в честь Хулио Гаравито, своего предка, больше ста лет назад вычислившего широту Боготы и придумавшего метод измерения лунной орбиты: густоусый человек на фоне Луны, на поверхности которой можно различить Море Спокойствия. Бенавидес вытащил плакат из рамки, и за ним, приклеенный к паспарту,

---

<sup>22</sup> Родольфо (Рудольф) Валентино (1895–1926) – голливудский киноактер, секс-символ эпохи немого кино.

обнаружился конверт авиапочты – конверт иных, давних времен: с красно-синими полосками. Бенавидес сунул в него два пальца и выудил какой-то поблескивающий предмет. Это был ключ.

– Нет, не только. И даже не самое ценное. Впрочем, ценность этих экспонатов измерить невозможно. Однако уверен, вы согласитесь со мной. Любопытно, что вы скажете об этом.

Он всунул ключ в скважину ящика в своем письменном столе, механизм сработал, и ящик, будто вздохнув негромко, выдвинулся. Бенавидес пошарил в нем и протянул мне банку толстого стекла с плотно притертой крышкой. Самого заурядного вида банку, в которой можно держать что угодно: абрикосы в коньяке, сушеные томаты, баклажаны с душистым базиликом. Внутри, однако, плавало в какой-то жидкости нечто такое, что опознать мне не удалось – не абрикосы, не баклажаны, не томаты. Наконец я разглядел там фрагмент позвоночного столба и понял, что какие-то лоскутки, покрывающие его, – это человеческое мясо. При столь сильном впечатлении рекомендуется только молчание: любой вопрос покажется избыточным или даже оскорбительным. (И допустимо ли, спросим себя, оскорблять реликты?) Бенавидес и не ждал, что я облеку в слова все, что ворочалось у меня в голове. Посередине Гайтанового позвонка черное отверстие смотрело на меня как глаз галактики.

– Мой отец верил, что был и второй стрелок, – сказал Бенавидес. – По крайней мере, какое-то время он был в этом убежден.

Доктор имел в виду одну из многих теорий заговора, которые сплелись вокруг гибели Гайтана. По этой версии, Хуан Роа Сьерра 9 апреля действовал не в одиночку: его сопровождал еще кто-то – он-то и произвел несколько выстрелов, из которых один оказался роковым. В пятидесятые годы эта версия набрала силу прежде всего благодаря следующему неоспоримому факту: одну из пуль, поразивших Гайтана, при вскрытии не обнаружили. «И, разумеется, остальное доделало воображение, – сказал Бенавидес. – Появлялось все больше свидетелей, убежденных, что видели второго стрелка. Кое-кто даже описывал его наружность. Кое-кто уверял, что пропавшая пуля и была смертельной; было решено, что ее выпустили из другого оружия, и, стало быть, Роа Сьерру нельзя считать убийцей». Поскольку все эти очевидцы были люди серьезные и уважаемые, а призраки 9 апреля косили наши ряды, дознаватель получил в 1960 году поручение рассмотреть со всем вниманием версию второго стрелка и либо подтвердить ее окончательно, либо отвергнуть решительно, чтобы заткнуть рты параноикам. Следователь по имени Теобальдо Авенданьо обладал редким качеством – к нему не питали ненависти ни либералы, ни консерваторы. В этой стране такое можно счесть высшей добродетелью.

– И прежде всего, – сказал Бенавидес, – он приказал произвести эксгумацию.

– Чтобы найти пулю? – спросил я.

– Потому что результаты вскрытия были очень скудны. Представьте себе, Васкес, что чувствовали врачи в 48-м году. Вообразите, каково им было склониться над телом великого либерального вождя Хорхе Эльсера Гайтана, народного героя и будущего президента Республики Колумбия. Как тут было не растеряться? Установив причину смерти, они решили не потрошить тело дальше, хотя так и не обнаружили другую пулю. Не исследовали спину – при том, что обнаружили там входное отверстие. Однако дело было под вечер, с момента убийства минуло уже шесть часов, и к этому времени единственная истина звучала так: Хуан Роа Сьерра застрелил Гайтана и был растерзан толпой. И все на этом, и какая разница, сколько пуль выпустил убийца? Все это стало важно впоследствии, когда появились версии, обнаружились противоречия, возникли вопросы без ответов и разнообразные спекуляции, где все годится и все идет в дело. Конспирологические теории, Васкес, – как выюнки, как лианы, они хватаются за что угодно, чтобы лезть вверх, и лезут, пока есть опора. Для этого и надо было совершить повторное вскрытие и поискать пропавшую пулю. И кому же следователь Авенданьо поручил это? Кто мог бы справиться с этим? Правильно – мой отец. Доктор Луис Анхель Бенавидес Карраско.



– Эксперт в области баллистики и судебной медицины, – сказал я.  
– Именно так. Сам факт и время эксгумации держали в тайне. Гайтан был похоронен неподалеку от своего дома, в парке Санта-Тересита. Вы ведь бывали в том квартале, у дома

Гайтана? Ну вот, там его и похоронили. Вытащили гроб и поставили в патио его дома. Там уже был мой отец. Сколько же раз он рассказывал мне об этом, Васкес... Тридцать, сорок, пятьдесят... С самого детства помню. «Папа, расскажи, как выкопали Гайтана», – просил я бывало, и он с готовностью принимался рассказывать. Ну, он дождался, когда внесут гроб, и попросил открыть его в своем присутствии, и еще удивился, в каком состоянии тело Гайтана. Дело в том, что одни тела сохраняются лучше, а другие – хуже. А Гайтан через двенадцать лет после смерти выглядел так, будто его забальзамировали... Но чуть только попал на свежий воздух, сейчас же начал разлагаться. И дом наполнился запахом смерти. Отец уверял, что весь квартал пропитался тленом. Кажется, это было невыносимо. Присутствующие начали по одному выбираться оттуда. Еле сдерживая дурноту, побледнев, закрывая нос рукавом... А потом как ни в чем не бывало возвращались, свеженькие такие... Отец потом узнал, что Фелипе Гонсалес Толедо, единственный журналист, присутствовавший там, заводил их в лавочку по соседству и заставлял протирать ноздри анисовой водкой – после этого можно выдержать что угодно. Гонсалес Толедо знал все эти штуки. Не зря, не зря считался он в этой стране лучшим репортером «красных страниц» – уголовной хроники.

– Он написал об этом дне?

– Ну конечно. Написал, черным по белому, изложил все как есть. С того момента, как отец и судебный медик извлекли пулю. Однако в подробности не вдавался, а вот я их знаю: знаю, что нашли пулю, застрявшую в хребте, знаю, что вынули фрагмент, а тело вновь захоронили. Не хватало только, чтобы какой-нибудь полоумный унес тело.

– А что с позвонком?

– Доставили в институт.

– В Институт судебной медицины?

– И там подтвердили – ну, сужу по словам отца, ибо он знал об этом, – что пуля, застрявшая в позвоночнике, была выпущена из того же оружия.

– Из пистолета Роа Сьерры?

– Да. Из того же пистолета, что и остальные пули. Вы наверняка знаете все это, потому что сюжет крутили по телевидению каждый день, так что я не стану вам объяснять, что такое канал ствола и что он оставляет на пуле единственные в своем роде следы. Вам достаточно знать, что отец сделал фотографии и анализ и пришел к заключению, что речь идет об одном и том же пистолете. Так что второго стрелка не было. По крайней мере, судя по баллистической экспертизе. Ну, как и следовало ожидать, позвонок не вернулся в тело Гайтана. Его поместили в надежное место. Вернее, мой отец и поместил, и на протяжении многих лет использовал как наглядное пособие на своих лекциях. Вот еще одна фотография моего отца, который едет в троллейбусе. Он не любил водить машину и потому ездил из дому в университет и обратно на троллейбусе. Вы ведь знаете, какие троллейбусы у нас в Боготе, Васкес? Тогда представьте себе картину – обычный рядовой гражданин (потому что мой отец был самым обычным и рядовым гражданином на свете!) садится в троллейбус с портфелем в руке. Никому и в голову бы не пришло, что в портфеле этом лежат кости Хорхе Эльсера Гайтана. Иногда он брал меня с собой и вел за руку, и тогда одной рукой держал за ручку живого ребенка, а другой – портфель с мертвыми костями. С костями, добавлю, за которые любой бы убил на месте. А отец, уложив их в кожаный портфель, ходил с ними и ездил в троллейбусе.

– И так вот в конце концов позвонок оказался в этом доме.

– Из университета – в музей, из музея – в дом, а из дому – вам в руки. Благодаря любезности нижеподписавшегося.

– А жидкость?

– Это пятипроцентный раствор формалина.

– Нет-нет, я спрашиваю – это та самая жидкость?

– Ну что вы. Я регулярно меняю ее. Чтобы не мутнела, понимаете? Чтобы ясно было видно.

*Есть люди, видящие ясно,* – вспомнилось мне. Я поднял банку и посмотрел на свет. Мясо, кость, пятипроцентный формалин: да, останки человека, но прежде всего – обломки прошлого. Я всегда был по-особенному восприимчив к ним, можно даже сказать – уязвим перед ними, они околдовывали меня, и готов согласиться, что в моем отношении к ним были и некий фетишизм, и (невозможно отрицать это) какое-то первобытное суеверное чувство: знаю, что одной частью души всегда воспринимал их как реликвии, и по этой причине никогда не казалось мне непонятным, и уж подавно – экзотичным, поклонение верующих какой-нибудь щепке с креста Господня или некоему знаменитому покрывалу, где волшебным образом остался отпечаток человеческого лица. И вполне могу постичь ту самоотверженность, с какой гонимые и казнимые первые христиане начали когда-то сохранять и почитать бранные останки своих мучеников – цепи, которыми их сковывали, мечи, которыми их пронзали, орудия пытки, которыми их терзали долгими часами. И эти первые христиане, издали глядя, как их обреченные единоверцы погибают на аренах, как истекают кровью от львиных клыков и когтей, потом, рискуя собственной жизнью, бросались к их телам, чтобы омочить в свежей крови свои одежды; а в тот вечер, сидя в кабинете доктора Бенавидеса с позвонком Гайтана перед глазами, я не мог не вспомнить, что то же самое делали очевидцы преступления 9 апреля – они преклоняли колени на мостовой Седьмой карреры перед домом Агустина Ньюто, в нескольких шагах от трамвайных путей, и собирали черную кровь своего мертвого вождя, пущенную четырьмя пулями Хуана Роа Сьерры. На эти отчаянные действия толкает нас атавистический инстинкт, думал я, держа в руке склянку с куском Гайтанова позвоночника.

Да, этот позвонок стал реликвией. Я ощущал исходящую от него энергию сквозь формалин и стекло: наверно, так же, как чувствовали себя христиане – скажем, Блаженный Августин, – держа в руках останки мученика – скажем, Стефана Первомученика. Августин говорит (хоть мне и не вспомнить точно, где я это читал) об одном из камней, которыми побили Стефана, и этот камень тоже, если дожил до наших дней, сделался реликвией. А где же пуля, убившая Гайтана? Где пуля, которую я недавно видел на рентгеновском снимке, пуля, сплюснутая от удара о ребра? Где пуля, которая вошла в тело Гайтана со спины и была извлечена и исследована доктором Луисом Анхелем Бенавидесом? Где пуля, которая, по его словам, больше не находится в позвонке? Бенавидес смотрел, как я смотрю сквозь стекло и формалин. Свет играл на густой жидкости, переливался разноцветными искорками на стекле: на фрагменте хребта их не было – эти манящие огни порождал свет, преломляясь в стекле. А я все думал о камне, которым убили Стефана Первомученика, о пуле, которая убила Гайтана. И наконец спросил:

– Где же пуля?

– А-а, пуля... – сказал Бенавидес. – Да, пуля... О пуле ничего точно сказать невозможно.

– Ее не сохранили?

– Может быть, и сохранили, может быть, кто-то и озаботился этим. Может быть, где-то хранится и пыль собирает. Но вряд ли это сделал мой отец.

– Но ведь пользовался ею. В качестве учебного пособия, по крайней мере.

– Да, это так. Он демонстрировал ее на лекциях. Какого ответа вы ждете от меня, Васкес? Я тоже спрашивал себя. И, разумеется, по логике – по всей логике, сколько ни есть ее на свете – он должен был хотеть ее сохранить. Но я никогда ее не видел. Быть может, он хранил ее и использовал в ту пору, когда я еще был несмышленьшим. Однако домой не приносил ее никогда, насколько я знаю. – Бенавидес помолчал. – Впрочем, тем, чего я не знаю, можно заполнить целые тома.

– А кто еще видел это?

– С тех пор как они у меня, – вы первый. Ну, не считая моих домашних. Жена и дети знают, что эти вещи существуют и находятся здесь, в моем сейфе. Но для сына и дочери их как бы и нет. Для жены они – бирюльки, в которые играет слабоумный.

– А Карбальо?

– Он тоже осведомлен об их наличии. Более того – он узнал об этом раньше, чем я. Мой отец ему рассказал. О повторном вскрытии в 60-е и обо всем прочем. Не исключено, что он видел их и на лекции. Но о том, что сейчас они у меня, ему неизвестно.

– То есть как?

– Он не знает, что они здесь.

– Почему же вы ему не рассказали? Я видел, какое лицо было у него, когда мы заговорили о Гайтане. Когда упомянули имя моего дядюшки. Он прямо просиял, глаза широко открылись, как у ребенка, получившего гостинец. Очевидно, что его это интересует не меньше, чем вас, а, может, и больше. Почему не хотите поделиться с ним?

– Сам не знаю, – ответил Бенавидес. – Потому, наверно, что надо бы и себе что-нибудь оставить.

– Не понимаю.

– Для отца Карбальо был не просто ученик. А ученик любимый. Наследник и последователь, продолжатель его дела. Все профессора падали на восхищение, Васкес. Более того – многие и преподают ради этого восхищения. Но Карбальо испытывал к моему отцу несравнимо более сильные чувства – он его обожал, боготворил, он сотворил себе кумира и фанатично поклонялся ему. Ну, так мне, по крайней мере, казалось. И кроме того, он был блестящим студентом. Когда мы познакомились, то есть когда отец стал привозить его к нам домой обедать, он был первым на курсе, но отец говорил, что курс – пустяки: лучшего студента у него не бывало за всю практику. «Как жаль, что он пошел в адвокатуру, – говорил он. – Его призвание – судебная медицина». У него к нему была слабость. Знаете, я даже иногда ревновал.

– Ревновали к Карбальо? – рассмеялся я. Доктор тоже улыбнулся: углом рта – разом общими и пристыженно. – Ревновали к этой, простите, глисте на ножках? Вот уж чего от вас не ожидал.

– Почему бы и нет? Во-первых и в-главных, позвольте вам сказать, что он не такая уж, как вы выразились и как может показаться, глеста на ножках. При всех своих закидонах Карбальо – один из самых умных людей, какие мне попадались на жизненном пути. Блестящий, живой ум. Очень жаль, что у него не задалась карьера – он стал бы великолепным адвокатом. Думаю, просто юриспруденция ему не нравилась. А нравился ему предмет, который вел мой отец, и хотя был первым в своем выпуске, но вот не влекла его юриспруденция – и все: учился словно по обязанности. Впрочем, это не имеет отношения к делу. Или все это перестаешь понимать, когда становишься взрослым? Знаете, Васкес, ревность и зависть движут миром. Половина всех решений принимаются под влиянием таких основополагающих чувств, как зависть и ревность. Пережитое унижение, обида, неудовлетворенная сексуальность, комплекс неполноценности – вот, мой дорогой пациент, двигатели истории. Вот в эту самую минуту кто-то принимает решение, от которого пострадаете вы и я, и принимает его по этим самым причинам – чтобы отомстить за неудачу, чтобы унижить врага, чтобы произвести впечатление на женщину и переспать с ней. Так устроен мир, так он функционирует.

– Ну, хорошо, хорошо. Но все равно – почему? Почему вы ревновали? Потому что ваш отец уделял ему больше внимания? Вы ведь даже не были сокурсниками.

– Куда там – мы, что называется, не из одного курятника: даже учились в разных университетах: я – в Хавьеранском, куда поступил, чтобы не думали, что меня приняли в Национальный по отцовской протекции<sup>23</sup>. И потом, Карбальо старше меня лет на семь или на восемь,

---

<sup>23</sup> Университет Св. Франциска Ксаверия (Хавьера) – старейшее в Колумбии высшее учебное заведение, основанное в 1623

это смотря кого слушать. Да неважно... Я приходил домой обедать и заставлял там его – он сидел за столом на моем месте и вел беседы с моим отцом.

– Минутку, Франсиско! – перебил я. – Объясните, как это?

– Ну, иногда я приходил обедать, а за столом в столовой сидел Карбальо, стол же был завален раскрытыми книгами, тетрадами, рисунками, схемами, свернутыми в трубку бумагами...

– Да нет же, я не о том! Объясните мне разницу в возрасте.

– Что-что?

– Вы минуту назад сказали, что у вас разница – «лет семь-восемь, смотря кого слушать».

И я не понимаю, что это значит.

Бенавидес улыбнулся:

– Да, в самом деле. Я так привык к этому, что не замечаю, как странно это звучит. Но все очень просто: если спросите Карбальо, когда он родился, он скажет, что в 48-м. Если заглянете в его метрику, увидите, что это ложь – он родился в 47-м. Ну угадывайте, откуда взялась разница? Даю вам шанс блеснуть сообразительностью. Угадывайте, почему Карбальо уверяет, будто родился в 48-м.

– Чтобы совпасть с 9 апреля.

– Бесподобно, Васкес! Теперь весь Карбальо у вас как на ладони. – Бенавидес снова улыбнулся, и я с трудом смог определить, что было в этой улыбке – чистый сарказм, немного ласки, смесь горькой насмешки с пониманием и терпимостью, той самой терпимостью, с которой относятся к детям или безумцам? Тут я кстати припомнил, что и Гарсия Маркес делал нечто подобное – на протяжении многих лет утверждал, что родился в 1928 году, хотя на самом деле это произошло годом раньше. По какой причине? Он хотел, чтобы год его рождения совпадал с тем, на который пришлась знаменитая «Банановая резня»<sup>24</sup>, ставшая для него настоящим наваждением, о нем он снова и снова рассказывал в лучшей главе «Ста лет одиночества». Я не сказал об этом Бенавидесу, чтобы не прерывать его.

– Вы начали рассказывать о столовой, – напомнил я.

– Да-да. Так вот, приходишь домой, а там – Карбальо сидит за столом, сплошь заваленным бумагами, и разговаривает с моим отцом. И все семейство должно ждать, когда отец закончит объяснять то, что он объясняет своему студенту. Своему ученику. А зависть, Васкес, – не что иное, как убежденность, что мое место занимает кто-то другой. Именно это я чувствовал, глядя на Карбальо, который заменял, замещал, вытеснял меня, лишая моего законного места за столом. Ладно бы отец задерживался после занятий, объясняя любимому ученику свои теории мироздания. Ладно бы он рассказывал ему то, чего никогда не рассказывал мне. Но прийти к себе домой и обнаружить все то же самое – как хотите, меня это задевало. Задевало, что отец разговаривает с ним, а не со мной. Он рассказывал ему, а не мне, если в университете происходило что-то из ряда вон. Да, Васкес, да! Меня это бесило. Отравляло мне жизнь. Я считал себя уже сложившейся, так сказать, личностью, зрелым мужем, как в старину говорили, и все-таки мне это отравляло жизнь, и я ничего не мог поделать. На самом деле я был еще очень незрел и юн. Хотя я и женился в двадцать четыре года, получил диплом хирурга и вроде вышел из возраста детских обид. И было о чем подумать, кроме этого... Я все это говорю к тому, что Карбальо не знает, что это – здесь. И очень бы хотелось, чтобы и дальше не знал. Посвящать его нет желания. Не знаю, понимаете ли вы, почему.

– Понимаю лучше, чем вы думаете, – ответил я. – Вы позволите вопрос?

– Смотря какой.

– Отношения между вашим отцом и Карбальо всегда были одинаковы?

---

году и состоявшее под покровительством ордена иезуитов.

<sup>24</sup> Жестокая расправа над объявившими забастовку рабочими «Юнайтед Фрут компани» в городе Съенага, в результате которой было убито 47 человек.

– Всегда. Отношения наставника и ученика, ментора и подопечного. Отец как бы нашел себе наследника. Или – Карбальо как бы обрел отца. Можно и так сказать.

– А кто его родной отец?

– Не знаю. Кажется, погиб во время Виоленсии<sup>25</sup>. Он был либерал, и его убили консерваторы. Карбальо ведь из простой семьи, Васкес: достаточно сказать, что он первый в роду поступил в университет. Ну, короче говоря, я ничего про отца не знаю. Он не любил об этом распространяться.

– Ну, разумеется. И не зря. И не зря присосался к доктору Бенавидесу и уже не отпускал его. Нашел в нем замену отцу.

– Мне не нравится этот термин, но соглашусь. Это многое объясняет, конечно. Они часто виделись, подолгу разговаривали по телефону. Давали друг другу книги, ну, то есть отец давал ему. По вечерам обсуждали судьбу страны, пытались установить поточнее, когда же у нас в Колумбии все накрылось, не скажу чем... И так прошли последние пять лет жизни моего отца. Или шесть. Так вот они прошли.

– А что за теории?

– Какие теории?

– Вы сказали, что ваш отец объяснял ему свои теории мироздания.

Бенавидес налил себе еще чашку кофе, сделал глоток и двумя шагами дошел до письменного стола. Открыл ящик-картотеку, заполненный красными папками с этикетками, на которых было что-то напечатано на машинке – но что именно, мне издали было не видно. Вытащил одну, вернулся к креслу, уселся, положив ее на колени, и принялся водить по ней рукой, то ли лаская, то ли успокаивая, как злодей из фильма про Джеймса Бонда – своего белого кота. «У моего отца не было увлечений: он относился к тем редким людям, которые делают то, что им больше всего нравится, и которым нравится то, что они делают. Лучшим развлечением для него была работа. Но если и существовало для него что-то вроде хобби, то это была реконструкция знаменитых преступлений с точки зрения современной криминалистики. Мой дедушка увлекался созданием гигантских головоломок – на две, на три тысячи элементов. Он собирал их на обеденном столе и, покуда не соберет, поесть в столовой семья не могла. Так вот, криминалистический анализ громких злодеяний служил моему отцу такими вот головоломками. По субботам и воскресеньям он поднимался очень рано и принимался за изучение давних дел так, словно они произошли вчера. Убийство Жана Жореса. Убийство эрцгерцога Франца Фердинанда. Вообразите, однажды дошло даже до Юлия Цезаря. Он несколько месяцев исследовал заговор и написал детальный очерк о нем, взяв за основу среди прочего и трагедию Шекспира. Одно время он увлекался тем, что доказывал криминальный характер нескольких знаменитых смертей, считавшихся естественными – пытался доказать, например, что Боливар скончался не от туберкулеза, а был отравлен своими колумбийскими недругами... Сами понимаете, все это было игрой, забавой. Серьезной игрой, как головоломки для того, кто их собирает, но все же игрой от начала до конца. Ох, вы бы вы видели, как взвизывался мой дед, стоило кому-нибудь тронуть хоть один фрагмент его головоломки: злоумышленнику лучше было удирать со всех ног.

– И эта папочка – одна из головоломок? – спросил я.

– Да, – кивнул Бенавидес. – Головоломка имени Джона Фитцджеральда Кеннеди. Эта забава – простите мой легкомысленный тон – сопровождала отца всю жизнь. Каждые пять-десять лет он вытаскивал папку из ящика и брался за дело. Взгляните на эти бумаги – это вырезки из колумбийских газет, имеющие отношение к убийству президента. Взгляните на даты: 4 февраля 1975 года. А вот другая – из «Эспасо», 1983-го. Дату можно разглядеть здесь

---

<sup>25</sup> Виоленсия (La Violencia – насилие, исп.) – противостояние Либеральной и Консервативной партий Колумбии, вылившееся в вооруженный конфликт, который продолжался с 1948-го по 1958 год.

в уголке, это публикация приурочена к двадцатилетней годовщине убийства ДФК. Подумать только, мой отец читает желтую прессу, ибо «Эспасьо» была газеткой именно такого рода. Но любое упоминание о Кеннеди укладывалось в архив. Вот здесь не то двадцать, не то тридцать документов – важных и не очень. И все они занимали досуг моего отца. И потому я их храню, и потому они для меня драгоценны. Думаю, больше они никому не нужны.

– Можно взглянуть?

– Я для того и вытащил, чтобы вам показать. – Он поднялся на ноги и выгнул спину – обычное движение для тех, у кого проблемы с позвоночником. – Полистайте, пока я спущусь и взгляну, что там у меня в доме творится. Принести вам что-нибудь закусить?

– Нет, спасибо, – сказал я. – А можно еще вопрос, Франсиско?

– Рискните.

– Почему именно эта папка, а не еще какая-нибудь? У вас ведь их вон – полный ящик. Есть причина, по которой вы решили показать мне эту, а не другую?

– Разумеется, есть. Это напрямую касается Карбальо. И мы здесь с вами говорим и все это время говорили о Карбальо, хоть вы этого и не заметили. Ну, ладно, бросьте-ка взгляд на эти бумаги. А я мигом вернусь и расскажу еще кое-что интересное.

С этими словами он прикрыл дверь, оставив меня одного.

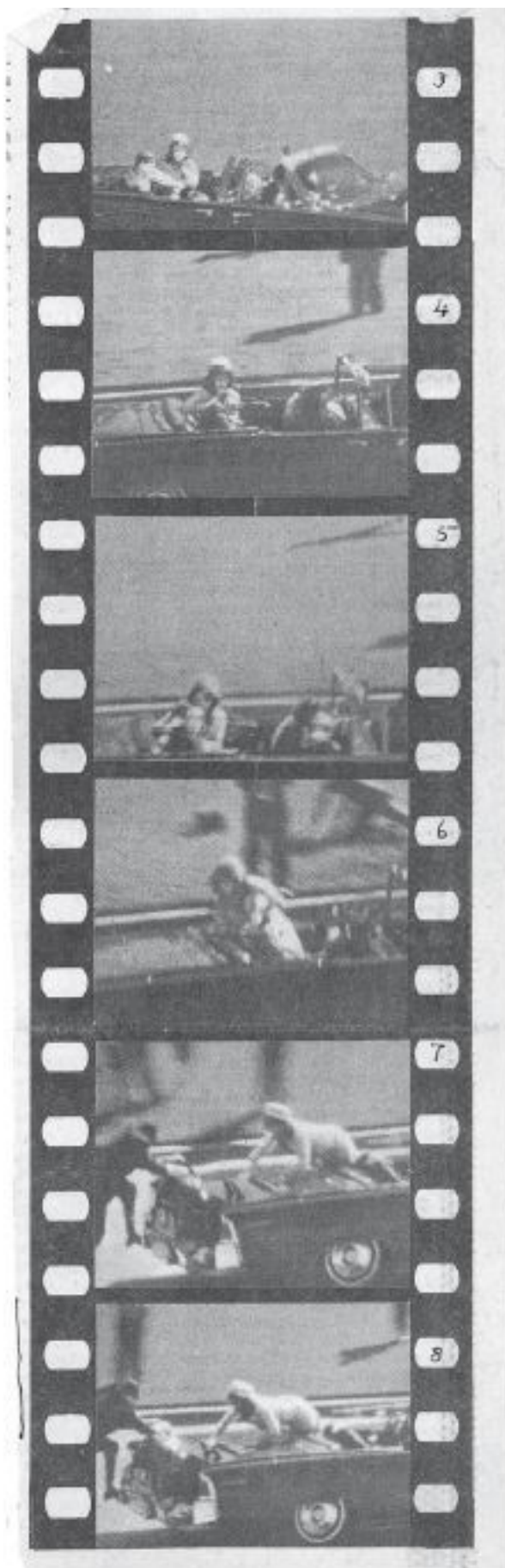
Сидя в вертящемся кресле, я открыл папку. Но листки выскальзывали и падали на пол, и мне приходилось придерживать их неестественно вывернутой левой рукой, чтобы правой продолжать листать остальные, так что в конце концов я уселся прямо на пол, на ковер цвета некрашеной шерсти, и тут же рядком разложил бумаги. «Ли Харви Освальд не убивал ДФК», – крикнула мне с ковра самая древняя вырезка. Хотя доктор Бенавидес-старший пометил на полях дату, но не источник, мне тем не менее показалось, что я узнаю характерный шрифт газеты «Тьемпо». Заметка рассказывала о фильме, только что прошедшем в Чикаго и доказавшем как дважды два, что президента Кеннеди убили пули, выпущенные из четырех или пяти стволов. Фильм этот, – сообщалось далее, – снял Роберт Гроуден, «фотограф и специалист-оптик из Нью-Йорка», а политический активист по имени Дик Грегори заявлял, что эта лента «изменила судьбу мира». Эти два имени я встречал впервые, но из текста можно было сделать вывод, что речь идет о знаменитом фильме Абрахама Запрудера, 8-миллиметровой любительской ленте, снятой им в день убийства – и по сей день эта двадцатисемисекундная пленка остается самым прямым свидетельством трагедии и источником всех конспирологических версий, которые с тех пор возникали. Позже лента Запрудера вошла в массовое сознание людей XX века (кадры ее отпечатаны у нас на сетчатке, и мы узнаём их немедленно), но в заметке она еще не упоминается, она еще более или менее засекречена или известна ограниченному кругу лиц, так что журналист даже не решился указать авторство съемки, ныне известное всем – более того, он приписал его некоему Гроудену, хотя этот Гроуден – фотограф и специалист-оптик – виноват лишь в том, что увеличил ее, изучил и непререкаемым тоном подтвердил все, что увидел на ней, иначе говоря, несет ответственность за ужасающие выводы, которые изменили судьбу мира.



«Эти кадры, – читал я, – запечатлели тот момент, когда президент Кеннеди получает пулю в голову. По мнению Гроудена, от удара Кеннеди отбросило назад и влево, что указывает на то, что выстрел был произведен спереди, а не сзади, не со спины, как принято было считать до сих пор». Поразительно, что в мире этой статьи, вернее, по состоянию мира на 4 февраля 1975 года, это еще звучало как откровение. А теперь сделалось общим местом: кто ж не знает, что движение головы Кеннеди противоречит официальной версии и, так сказать, главный камешек в башмаке тех, кто продолжает верить, будто Освальд действовал в одиночку. Далее говорилось: «На кадрах также видны двое мужчин, которые, по мнению Гроудена, вели огонь по Кеннеди. Один – из-за доколя, обратившись лицом к кортежу, другой – высовывается из-за кустов, тоже лицом к кортежу, и держит в руках винтовку, как утверждает Гроуден». В этих трех последних словах, словно в окошко, видно, как осторожно и боязливо ведет себя журналист, как озабочен тем, чтобы подчеркнуть (от имени газеты, разумеется), что эти подрывные разоблачения остаются исключительно на совести главного героя статьи. Как изменились эти слова за протекшие тридцать лет: каким множеством новых смыслов они наполнились, когда бесследно сгинули недомолвки и колебания и воцарилась непреложная уверенность. Трудно, подумал я, читать документ иной эпохи глазами тех, кто читал его в момент появления. Многим это так и не удалось, и потому они никогда не смогут установить связь с прошлым и навсегда останутся глухи к его шепоту, невосприимчивы к секретам, которые он нам выдает, и страшно далеки от понимания его таинственной механики.

В другой вырезке были воспроизведены шесть кадров из ленты Запрудера. Доктор Бенавидес пронумеровал их, хотя я так и не понял, к чему относится эта нумерация. Он не позаботился о том, чтобы указать, откуда взята эта вырезка, а потому неизвестными остались источник и дата публикации, но я предположил, что состоялась она через какое-то время после заметки о Роберте Гроудене, поскольку лишь спустя несколько лет после демонстрации ленты Запрудера в Чикаго мировые СМИ получили право воспроизвести ее содержание. Эти кадры. Эту картину. И я, сидя на подушке в кабинете Бенавидеса, думал: никогда мне не привыкнуть к ним. Никогда не станут они обыденностью. Какое множество случайностей должно было совпасть, чтобы человек с хорошей кинокамерой оказался именно там, где нужно, и сумел запечатлеть на пленке одно из самых значительных событий нашего времени? В наш век планшетов и смартфонов у каждого в руках – или, верней, под рукой – камера, и нет такого скандального происшествия или публичного успеха, сколь бы ничтожны ни были они, которые смогли бы избежать всевидящего ока этих профессиональных свидетелей, этих вездесущих цифровых сплетников, усердных, но бессердечных, не скромных, а скоромных, моментально фиксирующих и тотчас выкладывающих все в социальные сети. Тем не менее в ноябре 1963 года было большой редкостью или удачей, если неожиданный житейский эпизод оказывался заснят личной кинокамерой человека из толпы. Именно таков был Запрудер: по природе своей, но и по желанию – человек безымянный, человек из толпы, один из множества. Человек, которому решительно незачем было оказываться там, где оказался он в полдень 22 ноября с кинокамерой в руках.

Запрудера запросто могло бы там не оказаться. Если бы его семья в 1920 году не эмигрировала с Украины, объятой пожаром Гражданской войны, если бы сам он сгинул в это лихолетье или выбрал себе другую родину. Если бы он не научился делать выкройки в портновских мастерских Манхэттена, если бы не подписал контракт с фирмой «Нардис», владевшей в Далласе фабрикой спортивной одежды. Если бы он не увлекся киносъемкой и не купил «Белл & Хоуэлл», последнюю прошлогоднюю модель, то и не снял бы то, что снял. Сегодня мы знаем, что еще совсем чуть-чуть – и его фильма не было бы. Знаем, что мистер Запрудер задумал заснять проезд президентского кортежа с самого начала, но утро выдалось дождливое, и он пошел на работу, оставив камеру дома; знаем, что помощница сообщила, что небо очистилось от туч, и предложила сходить домой за камерой, чтобы не пропустить столь важное событие. Событие-то, разумеется, было важное, но мистер Запрудер вполне мог бы отказаться из-за нехватки времени или простой лени, или из-за невозможности в это время отлучиться из офиса, или из-за других дел, спешных и неотложных... Почему же этого не произошло? Почему он все-таки поспешил домой и взял там кинокамеру?



Я представляю себе Запрудера – застенчивого лысоватого человека лет пятидесяти с лишним, в черных роговых очках, который хотел только тихо трудиться в своем магазине спортивной одежды и чувствовать себя американцем. Нетрудно понять, что в те дни, когда на Кубе были развернуты советские ракеты и противостояние Кеннеди с Хрущевым достигло критической точки, Запрудер, выходец из Советской России, говоривший с характерным акцентом, чувствовал себя неуютно. Восхищение ли президентом Кеннеди привело его в толпу тех, кто ждал кортеж, или стремление выказать преданность Соединенным Штатам в эти крутые времена «холодной войны»? И когда он, последовав совету помощницы, вернулся домой за кинокамерой, не было ли это демонстрацией того, что и для него визит президента в Даллас – важное событие, что и он чувствует себя убежденным демократом и наравне со всеми участвует в патриотическом действе, которым стал проезд Кеннеди? Как повлияла его давняя и глубокая неуверенность в себе, столь свойственная иммигранту – пусть даже он переселился в Штаты сорок лет назад – на решение остановиться у Дили-Плаза, достать камеру и начать съемку? Да, но ведь он мог сделать это и по-другому: мы знаем, что поначалу Запрудер хотел снимать из окна своего кабинета и лишь в последний момент решил найти ракурс получше и спуститься на Элм-стрит, а там прикинул маршрут кортежа и сообразил, что идеальная точка съемки – бетонная колоннада в северной части улицы, возле виадука, на огороженном и ухоженном травяном холме. Туда он и направился, с помощью своей секретарши Мерилин Ситцман взобрался на контрфорс и еще попросил ее держать его, потому что с юности страдал головокружениями. Когда же на Хьюстон-стрит показалась голова кортежа, Запрудер позабыл и о своем головокружении, и о руке, поддерживавшей его сзади, забыл обо всем, кроме своей «Белл & Хоуэлл», и начал съемку, которая длилась 27 секунд: 486 кадров навсегда и впервые в истории человечества запечатлели тот миг, когда несколько пуль попадают в голову главы государства. «Как петарда, – скажет потом Запрудер. – Голова Кеннеди взорвалась, как петарда».

Вслед за этим началось настоящее столпотворение. Зазвенели истерические крики, мужчины, закрывая собой детей, бросались с ними наземь, женщины отчаянно рыдали, кто-то упал без чувств. И посреди всего этого Запрудера, который, сам не вполне еще сознавая, что произошло, возвращался со своей секретаршей в офис, взял на бордаж репортер «Даллас Морнинг Ньюс» по имени Гарри Маккормик. Он видел, как Запрудер снимал, и предложил представить его агенту «сикрет сервис» Форресту Соррелсу – тот, без сомнения, должен знать, как поступить с необыкновенным свидетельством, оказавшимся в руках кинолюбителя. Запрудер согласился передать отснятое агенту, но с одним условием: чтобы материал использовали исключительно для расследования убийства. Договорившись, они направились в телестудию, чтобы проявить пленку, но безуспешно: у техников не оказалось нужного оборудования. И Запрудер отнес свою пленку в фотоателье «Кодак» и до 6.30 ждал, когда ее обработают, а затем в «Джеймисон филм компани», где сделал две копии, и наконец вернулся домой, завершив, таким образом, самый изнурительный день своей жизни. А ночью ему приснилось, что он опять оказался на Манхэттене, где прожил первые двадцать лет в Америке, и на Таймс-сквер видит павильон, где обещают невиданное зрелище: «Вы увидите, как разлетается голова президента!»

И я видел это. И нас таких – миллионы: мы все видели, как, словно петарда, взрывается голова Кеннеди, и еще видели, что последовало за этим – те невероятные мгновения, когда Жаклин бросается собирать куски раздробленной – извините за подробности – головы; и среди вырезок доктора Бенавидеса нашлись фотографии элегантной и привлекательной дамы, которая в открытом лимузине «Линкольн» (такого же иссиня-черного цвета, что и костюм Гайтана) ловит осколки черепа или ошметки мозга своего только что застреленного мужа. Что искала Джеки? Какой инстинкт сподвиг ее на то, чтобы собрать фрагменты человека, которого она любила и который уже перестал существовать? Допустим умственные спекуляции: предположим, что сработал инстинкт, и назовем его за неимением более точного термина «инстинктом

целостности» – страстным желанием не допустить разъятия на частицы того, что прежде было единым. Единое тело Джона Фитцджеральда Кеннеди жило и творило, это было тело отца и мужа (а также президента, друга, неразборчивого любовника), а потом от удара пули распалось, разлетелось по иссиня-черному автомобилю – и перестало существовать. Быть может, Джеки, сама не сознавая этого, хотела воссоединить эти фрагменты и вернуть телу целостность, сделать таким, как несколько секунд назад, в иллюзорной надежде, что, если вернуть утраченное, тело оживет. Не то же самое ли подумал профессор криминалистики, когда увидел эту газетную страницу и вырезал из нее кадры, снятые Запрудером? Но, вероятно, он смотрел на эти фотографии другими глазами, и, вероятно, имел веские основания полагать, что Джеки в эти мгновения уже оперировала понятиями криминалистики и собирала улики для того, чтобы помочь следствию установить и покарать виновного. Вероятно, так думал он, когда вырезал эту страницу из газеты и добавил ее в досье, в свою головоломку: вероятно, – сказал я, – потому что все мы холодно и отстраненно смотрим на кадры, снятые Запрудером, и логично предположить, что так же смотрел на них Бенавидес-старший, вырезая эти фотографии, но думать, что этими же соображениями руководствовалась Жаклин Кеннеди 22 ноября 1963 года, что именно из соображений целесообразности перебиралась она, позабыв обо всем, по сиденьям «Линкольна» в его заднюю часть, безнадежно пачкая свой отлично сшитый костюм в еще свежей крови мужа, пропитывавшей ткань – значило бы совершенно не понимать, какую власть имеют над нами атавизмы. Туалет Джеки – еще одна реликвия. Если бы Кеннеди обожествили (что вовсе не такой уж вздор), каждая, с кем он спал, тоже стала бы реликвией. И мы поклонялись бы им, да, поклонялись бы и возводили бы в их честь алтари или музеи, и хранили бы в веках, как сокровище.

За этими размышлениями застал меня, вернувшись, доктор Бенавидес. «Все спят», – сообщил он устало и повалился в кресло. Вялой замедленностью движений, тяжелым вздохом он как будто напомнил мне, что и я устал: побаливала голова, пощипывало глаза, и проснулась клаустрофобия, сопровождавшая меня с детства (ну да, как головокружения – сеньора Запрудера): мне захотелось простора, потянуло на свежий воздух боготанской ночи прочь из этой комнаты без окон, пропахшей кофейной гущей и лежалыми бумагами, захотелось в клинику, проведать М. и спросить, как там – еще в отдаленном и непостижимом для меня мире – проживают мои дочери. Я вытащил телефон: пропущенных звонков не было, а четыре черточки, ровные и параллельные, выстроившиеся по росту, как детский хор, свидетельствовали об устойчивости сигнала. Бенавидес показал на ковер, заваленный вырезками, и добавил: «Ну, вижу, вы всерьез занялись этим».

– Я восхищен усердием и преданностью делу, – сказал я. – Замечательный человек был ваш покойный отец.

– Да, это так. Но когда лихорадка придала ему нового рвения, он был уже стар. Это было в 83-м, в год двадцатилетия убийства, и в этот миг его увлеченность перешла во что-то иное. Однажды он сказал мне: не могу умереть, пока не разгадаю тайну этого покушения. Умер он, разумеется, не разгадав его, но оставил эти бумаги. Кстати, нет ли среди них... – наклонившись, он поворошил кипу и вытащил один лист. – А-а, вот он. Относится как раз к тому времени: там досконально анализируются гипотезы убийства. Прочтите, пожалуйста.

– Вы хотите, чтобы я прочел это?

– Да, будьте добры.

Я откашлялся:

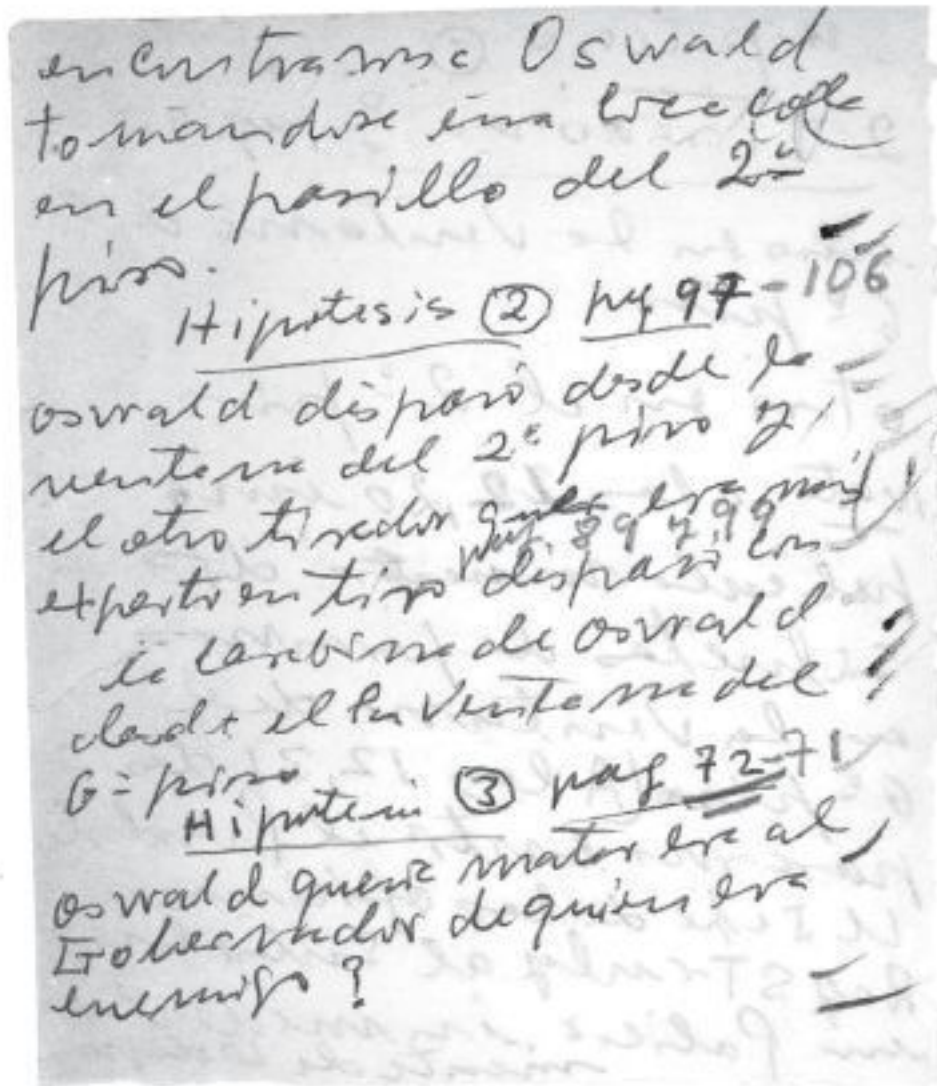
– «Версия 1. Двое стрелявших, страница 95». Страница 95 – чего?

– Не знаю. Какой-то книги, в которой он справлялся. Дальше читайте.

– «Двое стрелявших, – послушно продолжил я. – Один – в окне шестого, второй – второго этажа. Примечание: на 12.20 пленка показывает два силуэта в окне шестого этажа. В скоб-

ках: в 12.31 был открыт огонь по президенту. Управляющий домом Рой С. Трули, немедленно поднявшись вместе с полицией, обнаружил в коридоре второго этажа Освальда, который пил кока-колу». Вроде все верно прочитал, почерк довольно неразборчивый.

Hipotesis ①  
2 Tiradores ? por 95  
uno en la ventana del  
6º piso  
otro en el 2º piso  
Nota: a las 12,20 una  
película muestra dos  
siluetas de personas  
en la ventana del  
6º piso (A las 12,31 dio  
paseo entre el presidente  
el jefe de las oficinas  
Roy Strully al salir en  
un taxi inmediatamente  
después de lo disparado)



- Тоже мне новость. Дальше.
- «Версия 2. Страница 97. Освальд стрелял из окна второго этажа, а второй стрелок, видимо, более опытный, – из окна шестого, используя карабин Освальда. Версия 3...»
- Нет, эту не надо. Она никуда не годится.
- Тут сказано, что, может быть, Освальд хотел убить губернатора.
- Да, сказано. И очень неубедительно сказано. Важное содержится в других версиях, там есть его выношенные мнения.
- Выводы?
- Нет, не выводы, потому что он не успел сказать ничего окончательного. Но мнение – и более чем обоснованное – у него было. Мнение о том, что Освальд действовал не в одиночку. И, значит, версия *lone wolf*, как говорят американцы, не выдерживает критики. Это ложная версия. «Одинокий волк», так ведь? Само название абсурдно. Для меня совершенно очевидно – никто не смог бы сделать это в одиночку. Да не то что «для меня», а просто – очевидно! Только слепой такого не увидит.
- Рассуждаете, как Карбальо, – заметил я.
- Бенавидес рассмеялся:
- Может быть, может быть... Вы, сдастся мне, видели материал Запрудера?
- Несколько раз.

- Тогда наверняка помните...
- Что?
- Голову, голову! Что же еще, Васкес?!

Оттого, наверно, что я не ответил в тот же миг, и после его слов возникла крошечная пауза, Бенавидес одним прыжком подскочил к своему столу и, стоя перед своим непомерно огромным монитором (стоя – потому что я сидел в его рабочем кресле, и он не попросил освободить его), с трудом нагнулся к нему, словно отвешивая поклон, двинул мышкой и застучал по клавишам. Через несколько секунд открылась страница Ютуба «Фильм Запрудера». На экране возникли эскорт мотоциклистов в белых шлемах и Кеннеди на заднем сиденье автомобиля, двигавшегося удивительно медленно. Президент сидел так близко к дверце, что мог облокотиться о нее, расслабленно помахивая в обе стороны рукой, пленяя окружающий мир своей рекламной улыбкой и безупречной прической, не растрепавшейся на ветру, президент, уверенный в своей жизни и своих поступках, или по крайней мере умело притворяющийся, что в броне его самонадеянности нет ни малейшей трещины. Кортеж частью уже скрылся за рекламным щитом или транспарантом – точнее сказать было нельзя, – а когда появился вновь, произошло такое, чего никто не мог понять: Кеннеди сделал движение, неестественное для кого угодно и особенно – для президента, на которого в этот миг обращены взоры всего мира. Он соединил обе руки, сжатые в кулаки, у горла – перед узлом своего галстука – и симметрично, как марионетка, выставил локти. Первый выстрел ранил его. Прилетевшая сзади пуля попала в него и прошла навывлет, и президент, вероятно, потерял сознание, потому что закрыл глаза, словно засыпая, и стал клониться к Джеки. Ужасна та невозмутимая медлительность, с которой смерть вступала в свои права в президентском лимузине – на виду у всех, не таясь, не подкрадываясь ползком, как обычно, а ворвавшись среди бела дня. Супруга президента еще не знает о том, что случилось, но замечает нечто странное – ее муж склоняется к ней на плечо, словно ему внезапно стало плохо, и тогда она, повернув к нему голову (безупречная шляпка, прическа, ставшая приметой целого поколения), говорит ему что-то – или нам кажется, что говорит. Мы можем вообразить себе, как она произносит слова, полные участия, не подозревая пока, что тот, к кому они обращены, их не слышит: «Что с тобой?» – сказала, наверно, Джеки Кеннеди. Или может быть: «Что случилось? Тебе нехорошо?» И тут голова ее мужа взрывается – да, взрывается, как петарда. Это вторая пуля размозжила затылок и разбросала в стороны раздробленные кости – реликвии. Видео шло еще несколько секунд, а потом экран стал черным. Я не сразу вышел из своего ступора. Бенавидес вернулся в кресло и жестом (едва уловимым движением кисти) показал, чтобы и я занял свое место.

– Видите, а? – сказал он. – Первая пуля была выпущена сзади и прошла навывлет. Отец считал, что Кеннеди умер именно в этот миг. Второй выстрел произвели спереди. Помните, как голова мотнулась назад и влево, потому что пуля летела спереди и справа. Ну, согласны?

– Согласен.

– Хорошо. Тогда ответьте мне – мог ли Освальд находиться позади президента во время первого выстрела и перед ним – во время второго? Если бы вторую пулю выпустил тот же стрелок, что и первую, пуля толкнула бы голову жертвы вперед. И Джеки не кинулась бы собирать осколки черепа в задней части «Линкольна», ибо они тоже полетели бы вперед, туда, где сидел губернатор, или к водительскому креслу. Нет, Васкес, невозможно, чтобы оба выстрела были произведены из одной точки. Это не я вам говорю и не теория заговора – это закон физики. Так утверждал мой отец: «Это – физика». И нам это давно было известно, хотя оно и противоречит официальной версии событий. И отец мой знал это. И считал, что стрелявших было минимум двое.

– В книгохранилище. Один на шестом этаже, второй – на втором.

– Именно так. Но это не объясняет, откуда взялась пуля, разможжившая череп Кеннеди. Отец был уверен, что стреляли не из окна этого книгохранилища, а откуда-то с той стороны, куда двигался кортеж.

– Об этом говорится в статье 1975 года. Это теория Гроудена.

– Да. Один или двое стреляли спереди. Гроуден утверждает, что один прятался за кустом, а второй – за бетонной колоннадой. И первый был вооружен винтовкой. Так, а вы знаете, что сказал Запрудер сразу после убийства? Спецагент снял с него показания, и Запрудер уверял, что убийца находился где-то позади него. Потом, на слушаниях комиссии Уоррена, он поправился: на Дили-Плаза якобы слишком гулкое и разнообразное эхо, и потому он не может быть вполне уверен. Однако же немедленно после убийства он был уверен, что называется, на все сто и даже более того. Не сомневался, не колебался ни секунды, не мямлил «мне кажется, что...». Нет! Он был непреложно убежден. И мой отец – тоже.

– Однако в его записях об этом нет ни слова.

– То, что я вам показал, – только часть его штудий. Есть еще целая кипа страниц, но они не здесь. А знаете, где?

– Да быть не может... Неужто у Карбальо?

– Именно у него. У Карбальо. Откуда? Оттуда. Когда умер мой отец, он втихомолку забрал их. У Карбальо уже хранилось множество отцовских документов, отец сам ему их оставил. Вернее, он их отдал ему и не желал забирать назад. И я могу понять причину, хоть мне это и нелегко: в последние годы жизни никто не проводил с ним больше времени, чем Карбальо. Карбальо навещал его, сидел с ним, слушал его рассказы и его теории, и его общество сделалось для старика важнее всего на свете. Я допустил промах, Васкес, я допустил промах и никогда себе этого не прощу. Я уделял отцу мало внимания в последние годы его жизни. Я был слишком погружен в собственные дела и заботы. Я был занят семьей и карьерой, я наслаждался всеми прелестями взрослой жизни. И моим первенцем, родившимся в год моей женитьбы или чуть позже. Когда исполнилось двадцать лет со дня гибели Кеннеди, у меня родился второй ребенок. Девочка. Так что в 1983 году я был отцом двоих детей, мужем, хирургом, старавшимся проложить новые пути, и в довершение ко всему должен был заниматься отцом. И, разумеется, меня более чем устраивало постоянное присутствие Карбальо.

– Он занимал его и развлекал, не так ли?

– Да разве я один такой?! – воскликнул Бенавидес. – Все, у кого есть вдовый престарелый отец, благодарны тем, кто составит ему компанию. Карбальо идеально подходил на эту роль, он помогал отцу оставаться живым и активным, но главное – делал это, вовсе не считая, что совершает благодеяние. Наоборот, ему было лестно, что отец привечает его, принимает у себя, дарит ему свое время и свои мысли. «Как я завидую вам! – сказал Карбальо однажды. – Как бы я хотел быть сыном такого человека!» Так что все вышло просто идеально. Даже если бы я заплатил кому-нибудь, так славно бы не получилось... Впрочем, я платил, платил ему. Платил собственноручными заметками отца. Книгами и документами. И множеством вещей, драгоценных для меня, хоть я и осознал это слишком поздно.

– И среди них есть те, что должны лежать в этой папке?

– Конечно. Но для Карбальо они еще ценнее – это улики.

– Улики в деле об убийстве Кеннеди, – произнес я нечто вполне очевидное. Но, как сейчас же выяснилось, очевидное, да не вполне.

– Нет, – ответил Бенавидес. – По делу об убийстве Гайтана. Поймите одну простую вещь: Карбальо интересуется одним только Гайтаном. Он одержим девятым апреля и ничем больше. Убийство Кеннеди интересует его лишь постольку, поскольку может что-то прояснить в убийстве Гайтана. Карбальо утверждает, что в деле Кеннеди есть моменты, проливающие свет на обстоятельства гибели Гайтана – оно позволяет установить, кто его убил и как скрывали, что это оно результат заговора. Кеннеди ведет к Гайтану.

– Но ведь Кеннеди убили позже, – сказал я.

– Думаете, я не говорил ему об этом? Тысячу раз и на все лады. Но ему все кажется, что можно найти улики. Он везде находит улики. А как увидит – набрасывается на них.

Бенавидес, не вставая с кресла, нагнулся, взял красную папку и, вытянув свои длинные руки так, что запонки врезались в кожу, принялся собирать вырезки. Делал он это аккуратно и бережно, беря каждый листок двумя пальцами, как пинцетом. «Как пожелтели, бедняжки», – приговаривал он ласково, словно поглаживая новорожденных щенят. Я тоже наклонился и стал собирать бумаги, и вся сцена приобрела неожиданно домашний, семейный оттенок. Бенавидес отделил один листок, положил его на столик под лампой, а когда остальные бумаги были сложены в папку, протянул его мне с вопросом, знаю ли я, что это такое.

– Знаю, конечно. Джек Руби убивает Освальда. Все видели это фото, Франсиско. Так же, как и ленту Запрудера.

– Я не о том вас спрашиваю. А о том, видели ли вы *эту* репродукцию, напечатанную «Тьемпо» в 1983 году и подчеркнутую моим отцом. – Бенавидес указательным пальцем ткнул во вторую сверху фразу и продекламировал наизусть: «В этот миг и возникли сомнения в том, кто на самом деле совершил беспрецедентное злодеяние в Далласе».

– Вижу, – сказал я. – И что же?

– Помню, Васкес, помню, как будто это было вчера. Помню тот день, когда Карбальо пришел ко мне в кабинет с воспоминаниями Гарсия Маркеса. Это было два года назад, быть может, чуть больше. В январе 2003-го – дату я запомнил, потому что дело было вскоре после Нового года. В первый рабочий день я пришел на работу, а там на диване среди других пациентов, ожидающих приема, сидит себе Карбальо. Он вскочил, увидев меня, и прямо кинулся ко мне с криком: «Вы видели? Вы читали?? Ваш папа был прав!» В последующие дни – да нет, какие там дни! в недели и месяцы – его одержимость только возрастала, и он беспрестанно сопоставлял два преступления, и, по его мнению, многое проявлялось. И он приносил мне список совпадений. Приходил ко мне на работу или домой и приносил список. Во-первых, убийца. Что общего между Ли Харви Освальдом и Хуаном Роа Сьерра? Обоих обвиняли в том, что они действовали в одиночку. Во-вторых, оба расправились с врагом в миг его торжества. Хуана впоследствии даже подозревали в симпатиях к нацизму, не знаю, помните ли – Роа служил в германском посольстве и приносил домой нацистские памфлеты, и все об этом знали. Освальд, само собой, был коммунистом. «Потому их и выбрали, – говорил мне Карбальо, – что оба не могли вызвать сочувствия, никто не был с ними солидарен. Оба – каждый в свое время – представляли и даже олицетворяли враждебную силу. В наши дни их бы объявили членами Аль-Каиды. Так гораздо проще заставить людей поверить». В-третьих, оба убийцы были ликвидированы практически на месте. «Чтобы не проболтались, – сказал мне по этому поводу Карбальо. – Разве не ясно?»



А потом открыл мемуары Маркеса и прочел тот абзац, где элегантный господин подставляет толпе лжеубийцу, настоящий же остается в тени. Он наслаждался этой фразой, Васкес, он повторял ее снова и снова, и стоило посмотреть на него, ибо зрелище того стоило: оно несколько тревожило и вселяло с каждым разом все большее беспокойство, но было зрелищем! Со временем он смог соотнести эту фразу с подписью под фотографией Джека Руби: «В этот миг и возникли сомнения...» И он начал играть с ними, заменяя одну другой: «Разве не правда, что Джек Руби убил лжеубийцу, чтобы вывести из-под удара настоящего? Разве это не так, Франсиско? Разве в тот миг, когда элегантный господин натравил толпу у аптеки “Гранада” на Хуана, не возникли сомнения в том, кто на самом деле совершил беспрецедентное злодеяние?» «Доктор понимал это, – повторял Карбальо. – Иначе зачем бы ему подчеркивать эту фразу? Иначе зачем бы он так упорно искал следы второго стрелка в деле Кеннеди и пули – в теле Гайтана? Быть может, он приблизился к разгадке, хоть и сам того не знал? Слишком много общего – и такого, что не может быть простым совпадением», – твердил Карбальо. Я насмеялся над ним: «Что вы такое говорите? Что Гайтана убили те же люди, что и президента Кеннеди?» Он отвечал, что, разумеется, нет, что он с ума не сошел еще... но слишком уж велико сходство. «Здесь прослеживается метод. Убийцы Кеннеди, быть может, учились у тех, кто расправился с Гайтаном. Разве в Боготе 9 апреля не было американцев? Не было агентов ЦРУ? А люди, убившие Гайтана, должны были научиться этому у кого-то, а? Столь хитроумный заговор не по плечу любителю». Я повторял, чтобы он перестал нести чепуху, что это всего лишь совпадение. «Совпадений не бывает», – отвечал он и таращил глаза. Никогда прежде я не видел, чтобы так таращили глаза и так высоко вздергивали брови.

– Но ведь в деле Гайтана второго стрелка не было, – сказал я. – Вскрытие же проводил ваш отец.

– И об этом я Карбальо сказал. Напомнил, что и баллистическую экспертизу тоже делал мой отец. И подтвердил выводы следствия 48-го года – все пули, попавшие в Гайтана, были выпущены из пистолета Роа Сьерры. Однако Карбальо отводил глаза или скраивал одну из своих гримас, обозначавших недоверие. Разумеется, потому что для него любые выводы, сделанные следствием в 48-м году, были заведомой ложью. «Вся беда в том, что 9 апреля рядом не оказалось Запрудера, – говорил он мне. – Будь у нас Запрудер, другой петушок пропел бы у нас в стране». Да, с ним трудно разговаривать. Думаю, вы сегодня вечером сами в этом убедились. Так или иначе, то, что произошло сегодня, было следствием его одержимости. Карбальо хочет знать, кем был тот элегантный господин, оказавшийся у аптеки «Гранада». Кто организовал убийство Хуана Роа Сьерры. Зачем? Затем, что – как мне думается – его можно будет сопоставить с Джеком Руби и увидеть, что у них общего. Но главное – он желает докопаться до сути того, что случилось 9 апреля, увидеть подоплеку. Задумайтесь, Васкес – а мы не того ли хотим?

– В общем, да... Но в разумных пределах... не знаю, как еще это назвать. Не выходя за границы разумного.

– Людей вроде Карбальо можно назвать как угодно – сумасшедшими, параноиками, просто бездельниками, которые дурью маются. Но они посвящают жизнь поискам истины в неких очень важных делах. Может быть, они действуют ошибочными методами. Может быть, страсть застилает им глаза и толкает на эксцессы или заставляет верить в несусветную чушь. Но они делают то, чего не можем сделать мы с вами. Да, они зачастую не умеют себя вести в обществе, регулярно совершают глупости, бывают бестактны до наглости. Но, как мне кажется, они оказывают нам большую услугу, потому что всегда начеку, потому что ничему не верят до конца, сколь бы абсурдны ни были их собственные измышления. Но главное во всей этой теории, в этом поиске совпадений в убийствах Кеннеди и Гайтана, заключается вот в чем: если вы присмотритесь хорошенько, вы увидите – в ней нет ничего такого уж дикого.

– Нет ничего дикого, потому что вся эта затея целиком – дикость, – сказал я. – Это как разговаривать с Безумным Шляпником.

– Это вы так думаете. Всяк имеет полное право думать, как ему заблагорассудится.

– Но, Франсиско, не можете же вы принимать этот бред всерьез.

– Неважно, что я принимаю или не принимаю всерьез. Не вязните, Васкес, зрите в корень. Учитесь не судить по первому впечатлению. Карбальо видит в этом свое предназначение. Он тратит не только время и силы, он тратит на это деньги. Тратит больше, чем имеет, и все потому, что верит в свое видение. Он мне так и сказал – у меня, мол, есть свое видение. А в другой раз – мое предназначение обусловлено моим видением. Или наоборот, я уже не помню. Неважно. Для Карбальо истина заключается в следующем: в том и другом случаях нам не сказали правды. Только младенец или человек, напрочь не знающий историю, поверит, что Хуан Роа Сьерра действовал в одиночку, на свой страх и риск. И что Ли Харви Освальд со сноровкой опытного снайпера выпустил все пули, которые убили Кеннеди. И как прикажете поступать с этим знанием? Отбросить в сторону или все же попытаться что-нибудь сделать? Да, я понимаю, что для вас Карбальо – человек полупомешанный и безответственный. Но спросите себя, Васкес, взгляните в зеркало и серьезно спросите: вас воротит от Карбальо потому, что он несет чушь – или потому, что он опасен? Он бесит вас – или пугает? Спросите, спросите себя. Может быть, мне не следовало вас знакомить... теперь я это понимаю и, должно быть, совершил ошибку. Если так, простите меня. Я вам признаюсь, Васкес: он попросил меня об услуге. Он хотел познакомиться с вами и попросил, чтобы я вам его представил. Он был уверен, мне кажется, что вы расскажете ему что-нибудь полезное. Когда речь заходит о 9 апреля и Карбальо обнаруживает еще неисследованное улики или следы, он кидается на них, как ищейка. А вы, имея такого дядюшку... вы можете навести на след. Вероятно, и в том, что случилось сегодня

вечером, я виноват... недооценил, не предусмотрел. В любом случае не беспокойтесь – больше вы его не увидите. Сегодня вы встретились в первый раз. Второго, судя по всему, не будет. Что было, то было, неприятное происшествие, что уж тут... Но будьте покойны, Васкес – не такую вы оба ведете жизнь, чтобы пересечься в скором времени.

Дай-то бог, подумал я, покидая дом Бенавидеса. Дай бог никогда больше не видеть Карбальо.

Я думал всю ночь напролет и продолжил это почтенное занятие наутро, хоть уже и по иной причине – иной и для меня неожиданной: потому что ни за что не смог бы предсказать, какую противоречивую смесь отвращения и влечения, обольщения и отчуждения буду я испытывать при воспоминании обо всем, что я увидел и услышал у Бенавидеса – о Карлосе Карбальо и Хорхе Эльсере Гайтане, о Ли Харви Освальде, Хуане Роа Сьерре и Джоне Фитцджеральде Кеннеди. И с тех пор, как я покинул дом Бенавидеса, не проходило часа, чтобы я снова и снова не возвращался мыслями к этим людям с такой печальной судьбой, не предпринимая ни малейших усилий, чтобы изгнать из памяти эти образы и сведения – напротив, я как бы заигрывал с ними, дополнял их с помощью собственного воображения, мысленно сочиняя истории, то есть облекая в словесную форму. Во вторник рано утром я отправился в центр Боготы, в район Канделария, не имея иного мотива, кроме желания оказаться на том месте, где застрелили Гайтана, и вспомнить рассказ, подаренный мне Пачо Эррерой в 1991 году. И в точности повторил маршрут, каким я – в ту пору студент-юрист – шел тогда: от Чорро-де-Кеведо к Паломар-дель-Принсипе, от скамеек в парке Сантандер – к паперти собора Примада; прогулки мои были бесцельны, бессистемны и своевольны, подчинены только случайностям и прихотям дней (друг на друга непохожих), хотя с какой-то минуты я и начал упорядочивать их, выстраивать, и порядок этот креп год от года, пока не превратился в некую рутину. Если изобразить мой маршрут схематически, на карте Боготы возник бы параллелограмм, вершины которого, как в «Смерти и компасе», образованы убийствами, с той лишь разницей, что в рассказе Борхеса – это артефакт, порожденный чувством и разумом литературного разбойника, а у меня они всего лишь отвечают – нет, я бы даже сказал «ответствуют» – безжалостным превращениям истории.

Я начинал обычно с кафе «Пасахе», выпивал там кофе с коньяком, потом через площадь Росарио шагал на восток по 14-й калле, минуя дом, где в 1896 году пустил себе пулю в сердце поэт Хосе Асунсьон Сильва; потом сворачивал к югу, шел вниз по 10-й калле, осторожно ступая по брусчатке мостовой, напомилавшей панцири бесчисленных дохлых черепах, и медленно приближался к тому окну, откуда в гнусную сентябрьскую ночь 1828 года выпрыгнул Симон Боливар, спасаясь от заговорщиков, которые вломались к нему со шпагами наголо и пытались убить его в собственном доме; потом входил на 7-ю на уровне Капитолия, и через двадцать шагов оказывался в 1914 году, перед двумя мраморными плитами, с чересчур многословным негодованием оплакивавшими гибель генерала Рафаэля Урибе Урибе<sup>26</sup>, павшего там жертвой преступников; потом одолевал еще четыре квартала к северу, пока не останавливался у исчезнувшего дома Агустина Ньето, вернее, на том месте тротуара, где застрелили Хорхе Эльсера Гайтана. Иногда (не всегда) делал еще несколько шагов туда, где в 1931 году помещалась съестная лавка и закусочная и где карикатурист Рикардо Рендон, чьи рисунки так восхищали меня в детстве, хоть мне и непонятно было, что на них изображено, сделал набросок простреленной головы, допил свою последнюю кружку пива и выстрелил себе в висок по причинам, оставшимся неизвестными. Весь этот маршрут я повторил во вторник 13 сентября, на этот раз с мыслями о доставшихся нам в наследство людях, которые столько лет переходили в разряд

---

<sup>26</sup> Рафаэль Виктор Зенон Урибе Урибе (1859–1914) – видный парламентарий, политик и военный, подвергся на улице нападению двух рабочих-каменщиков, нанесших ему молотками несколько смертельных ран.

покойников на столь ограниченном пространстве, теперь же сделались частью нашего пейзажа, а мы об этом даже не подозреваем; и ужаснулся тому, как горожане, не сбиваясь с твердого шага, проходят мимо этих мемориальных досок и, вероятней всего, не уделяют им даже самой краткой мысли. На редкость жестокий народ мы, живые.

Я пустился в путь очень рано – как в те времена, когда грыз гранит юриспруденции и занятия начинались в семь утра. Но на этот раз пришел туда, где за последние двенадцать лет не побывал ни разу и – более того – даже не вспоминал об этом месте. Где-то в начале 1993 года я отправился в центр, как делал всякий раз, когда желал избавиться от смертельной скуки моих юридических штудий. В то утро я гонялся за двухтомником Кортасара «Последний раунд» в издании «XXI век» и никак не мог достать его: не добившись успеха в книжном магазине Лернера, я решил заглянуть в «Культурный центр книги», в странное трехэтажное кирпичное здание, похожее на промышленный склад: его тесные клетушки были набиты старыми и подержанными книгами, и там можно было отыскать все что угодно. Но прежде чем затеряться в лабиринтах центра, я вспомнил о небольшой книжной лавке на другом конце того же квартала, прилепившейся к магазинчику школьно-письменных принадлежностей, и решил попытать счастья сначала там. В тот миг я не вспомнил о начале нового учебного года, а потому, подойдя к витрине, неприятно удивился при виде беснующейся оравы детей, вопивших что есть мочи и цеплявшихся за юбки своих дородных мамаш. Нет, – решил я, – как-нибудь в другой раз. И двинулся своей дорогой, свернув на углу к востоку, и уже приближался к другому перекрестку, откуда намеревался двинуться на юг, и дойти до входа в краснокирпичный корпус книжного магазина, когда от грохота, никогда прежде не слышанного, но тотчас узнал, содрогнулись стены. Удивляясь, что от взрыва такой силы не рухнуло здание, все мы задались вопросом – а не там ли была заложена бомба? Я, можно сказать, стремглав выскочил на проспект Хименеса, держа в уме одну-единственную мысль – продраться сквозь толпу людей, метавшихся во всех направлениях, добежать до университета, убедиться, что моя сестра цела и невредима, и убраться из очага поражения как можно скорей. И только значительно позже, из вечернего выпуска новостей, узнал, что взрыв оставил после себя несколько десятков убитых и раненых (не говоря уж о глубокой воронке посреди мостовой), главным образом – этих самых матерей с детьми, покулавших в соседнем магазине всякое школьное обзаведение.

И теперь, оказавшись там, где, если моя слабая память меня не подводит, взорвалась бомба, и после недолгих поисков обнаружив, что магазина, куда я направлялся тогда, больше нет (как нет в моей переменчивой Боготе и многого другого), припомнил тот день, вновь ощутил боль в ушах и без романтической велеречивости принял как откровение простую истину – в числе погибших мог оказаться и я. И воскресил в памяти драматизм первых месяцев 1993 года: бомба на 7-й калье, 72 погибших, бомба на 100-й, 33 погибших, еще две в центре – соответственно 13 и 15, и еще одна на 9-й, 25 трупов, и бомба в торговом центре на севере, на 93-й. Сейчас уже, конечно, и следа не осталось от той бомбы и от ее двадцати трех жертв. Нет, я думал не о руинах и не о физических следах разрушений, а о какой-то мемориальной доске, одной из тех, какие призваны нам напомнить о гибели людей знаменитых или важных, о гибели публичных фигур, оказавшей влияние на судьбы других. Да, разумеется, терроризм одержал победу – одну из многих – в моей стране: групповая смерть (какое ужасное выражение), массовая гибель (и того хуже) никогда не вспоминается, никогда не удостаивается хотя бы самых скромных почестей, не увековечивается на стенах домов, потому, наверно, что доска получится слишком большого размера (попробуйте-ка уместить на ней двадцать три имени или втрое больше, если говорить о теракте у здания Департамента безопасности), а, может быть, потому, что мраморные доски по неписаному и негласному закону приберегают для тех, кто утаскивает с собой на тот свет других, для тех, чья скоропостижная кончина способна забрать с собой все общество (что и происходит довольно часто), и потому таких персон мы охраняем, и потому их смерти мы боимся. В старину люди, не задумываясь, отдавали жизнь за короля

или королеву, ибо все знали, что их гибель – в припадке ли самоубийственного безумия или в результате заговора – вполне способна столкнуть в пропасть всю державу. Так случилось с Хорхе Эльесером Гайтаном, подумал я, – чью гибель мы, возможно, могли бы предотвратить, и едва ли нашелся бы хоть один колумбиец, который не спрашивал себя, что было бы, если бы это удалось, и скольких смертей в этом случае можно было бы избежать, и в какой стране жили бы мы сегодня. Поскольку память всегда непредсказуема и всегда выбрасывает на поверхность лишь то, что захочет, мне в эту минуту припомнились слова Наполеона: «Чтобы понять человека, нужно сперва понять мир, в котором он жил в двадцать лет». Для меня, рожденного в 1973 году, мир был таков: бомбы с января по апрель и смерть Пабло Эскобара, застреленного на крыше какого-то дома в Медельине. Однако я не знал, что это может значить для моей собственной жизни.

Я обогнул квартал и вышел к кирпичному дому, но едва лишь двинулся вдоль стендов и стеллажей, как позвонила М. (раздался наконец тот самый звонок мобильного, который я со страхом ждал столько дней). И твердым голосом – без сомнения, чтобы вселить в меня уверенность в благополучном исходе, напрочь отсутствовавшую у нее самой, – сообщила, что отошли воды. Врачи объяснили, что через час начнут экстренное кесарево сечение. Я спросил, успеем ли мы увидеться до операции.

– Думаю, да, – ответила она. – Но ты поторопись, пожалуйста.

Когда я приехал в клинику, там царило необычное оживление. У всех входов в очереди стояли люди, а у въезда на парковку – вереницы машин, очереди выстроились и у стеклянных дверей главного корпуса. Вооруженный охранник проверял сумочки женщин и портфели мужчин и вообще все, в чем можно было что-то пронести. После этого досмотра мной занялся другой охранник: он попросил меня поднять руки и начал ощупывать и обшаривать сверху донизу. «А что происходит?» – спросил я. «Приняты повышенные меры безопасности, – был ответ. – Только что скончался президент Турбай». Из-за этих самых повышенных мер я потерял несколько минут и, покуда скорым шагом шел по коридорам клиники, огибая и обгоняя неспешно идущих посетителей (им, в отличие от меня, явно некуда было торопиться), думал, что опоздаю, жену увезут в операционную, я не увижусь с ней и не смогу показать, что я – рядом, что я – с ней, а попутно – голова в такие минуты работает причудливо, а стресс разгоняет мысли по самым неожиданным направлениям – проклинал и последними словами поносил покойного президента, пылая ребяческой, но от того не менее неистовой яростью, впрочем, вскоре схлынувшей и оставившей после себя лишь неприятное ощущение досады, тем более неоправданной, что, несмотря на очереди, проверки и досмотры, я все же поспел вовремя. М., бледная, с влажными ладонями, лежала на перегородившей полутемный коридор каталке, отвечала на вопросы анестезиолога и ждала, пока кто-нибудь доставит ее в операционную, однако, судя по выражению лица, владела если не ситуацией, то собой, и я не мог не восхищаться ею в очередной раз.

Девочки появились на свет в 12 и 12.04. Врачи не разрешили мне увидеть их – каталка вывезла новорожденных из операционной так стремительно, что меня на миг овеяло сквознячком беды. Я успел разглядеть только ворох белого тряпья, из которого выглядывали овальные, прозрачные насосы, посредством которых сестры помогали сделать первый вздох легким моих дочерей, сформировавшимся благодаря кортизону. М. должна была очнуться от наркоза лишь через несколько минут, и я попросил разрешения дожидаться, когда это произойдет, а покуда размышлял о том разочаровании, которое отныне и навсегда останется со мной – я не видел, как рождались мои дочери. М. проснется, и я расскажу ей, что все прошло хорошо, что девочки находятся в своих кувезах и потихоньку осваиваются, да, но все это не меняет того обстоятельства, что я не видел, как они родились. И меня это опечалило, но, думалось мне, моя печаль – ничто по сравнению с печалью М., однако самое важное было не это, а возникшая из-за экстренных преждевременных родов необходимость решить другую задачу – как сохра-

нить жизнь существам, проведшим в утробе матери лишь тридцать недель и по этой причине к жизни не готовым.

Лишь через несколько часов мне их показали в первый раз. Показали мне одному: у М., пролежавшей двадцать три дня в полной неподвижности, возникла легкая атрофия икроножных мышц, и она не могла даже подняться с кровати, так что я, получив разрешение увидеть своих дочек, захватил камеру, некогда взятую нами в клинику специально, чтобы запечатлеть этот момент (хоть и совсем иначе представляли его себе), и направился в палату неонатологии. Там, среди шести или семи младенцев, которые были для меня всего лишь безымянными пятнами в пейзаже, находились и мои новорожденные дочери, обозначенные белыми карточками: такие же карточки липкой лентой были приклеены к пластмассовой стенке кувеза. Они лежали, омываемые потоком яркого света и надежно укрытые: на головах – шерстяные чепчики, на глазах – белые повязки, чтобы не резал свет, на губах – кислородные маски. На виду не оставалось ни одной части лица, и я не мог ни увидеть их, ни всмотреться в них, ни запомнить их, то есть поступить так, как поступаем все мы со всяким новым знакомцем. На карточке был указан точный вес – килограмм сорок граммов и килограмм двести семьдесят граммов: столько весит паста, которую готовят на кухне для ужина с друзьями. Разглядывая новорожденных (ручки толщиной с мой палец, лилового оттенка кожу, еще покрытую зародышевым пушком, узенькое пространство грудной клетки, на котором едва умещались электроды), я совершил очередное ужаснувшее меня открытие – от меня не зависело, выживут мои дочери или нет, и я ничего не могу сделать, чтобы отвести грозящие им беды, потому что беды эти таятся внутри их несозревших тел, наподобие бомбы с часовым механизмом, которая то ли взорвется, то ли нет – я сознавал это отчетливо, хоть и не получил еще полный перечень опасностей. Мне предоставят его потом, по прошествии часов и дней: врачи расскажут мне, что, если артериальный проток еще сколько-то времени останется открыт, потребуется хирургическое вмешательство, и что на самом деле означает эта легкая синюшность кожи, и о показателях кислородной сатурации, и что такое ретинопатия недоношенных и пока еще не миновавшая угроза слепоты. Я сделал несколько снимков, вышедших отвратительно (пластмассовые стенки инкубатора отражали вспышку и частично скрывали то, что находилось за ними), и отнес их М.

– Вот твои дочки, – сказал я, выдавив из себя улыбку.

– Вот они, – сказала она.

И впервые с тех пор, как все это началось – расплакалась.

Я был занят заботами и тревогами о дочерях и не рассказал М. о том, что видел в доме Бенавидеса. Для этого должно было произойти кое-что еще. И незадолго до выписки произошло: к этому дню М. уже могла ходить по клинике, и мы вместе стали навещать новорожденных, когда это разрешалось правилами. Во время недолгих – не более двадцати минут – посещений мы могли доставать девочек из кувез, брать их на руки, чувствуя их и давая им почувствовать нас. Сестры на это время убирали электроды, и неприятный посвист аппаратов, так назойливо напоминающий о бренности, смолкал. Но не разрешалось вынимать трубочки, заменившие кислородную маску первых суток и пластырем приклеенные с обеих сторон миниатюрных носиков, а мы, посетители, должны были сидеть у кувез, следя, чтобы трубочки не натягивались и не могли отсоединиться. И, словно привязанные к кислородным баллонам, замершие в неудобных позах с крошечными спящими существами на руках, мы проводили так по несколько минут – минут робкого счастья и подспудного беспокойства, ибо никогда не была для нас так очевидна их уязвимость, как в эти моменты. Я держал ручку дочери указательным и большим пальцами, отчетливо сознавая, что при желании могу переломить ее как пруттик; я следил за большой дверью в палату, потому что был убежден, что сквозняк может оказаться губителен для недоразвитых легких; я дезинфицировал руки даже чаще, чем следовало, втирал в кожу прозрачный гель со спиртовым запахом, от которого щипало глаза, ибо иммунная система недоношенных младенцев не способна справиться даже с самыми безобидными бак-

териями. И мало-помалу стал замечать – скорее с тревогой, чем с интересом, – что весь мир теперь представляет для них угрозу. При виде непонятных предметов или других людей я впадал в нервозность и даже в агрессию, хотя люди эти были мне знакомы и, более того, работали здесь же, в клинике. Всем этим я объясняю резкость моей реакции в тот день, когда, в очередной раз придя навестить дочек, покуда М. собирала свои вещи в ожидании выписки, обнаружил в палате доктора Бенавидеса – склонившись над одним из кувез, он руками без перчаток что-то делал с кислородной трубкой. Даже не поздоровавшись, я спросил – что.

– Трубочка выскочила, – ответил он улыбаясь, но не глядя на меня. – Я ее приладил на место.

– Руки уберите, пожалуйста.

Бенавидес подушечкой мизинца разгладил кусочек пластыря, вытащил руки из кувеза и повернулся ко мне:

– Спокойно, спокойно... Это же простейшее дело... Канюля...

– Я запрещаю вам, – перебил я, – запрещаю в мое отсутствие совать руки в кувезы. И даже прикасаться к ним. Надеюсь, понятно?

– Я ставил канюлю.

– Да плевать мне, Франсиско, что вы ставили. Я не желаю, чтобы вы к ним прикасались. Будь вы хоть сто раз доктор.

Доктор меж тем искренне поразился. Он подошел к стене и нажал рычажок дезинфектора – раз и другой.

– Я зашел повидаться с вами, – сказал он. – И проведать ваших девочек. Вернее, предложить свои услуги.

– Спасибо, мы в полном порядке. Это ведь не по вашей специальности, доктор.

– Простите, папаша, – сказала мне появившаяся в палате сестра.

– В чем дело?

– Здесь нельзя находиться без халата, правила есть правила.

И она выдала мне ярко-синий халат, еще сохранявший особый теплый запах свежeweыглаженного белья. Пока я надевал его и стерильную шапочку, Бенавидес уже ушел. «Я нагрубил ему, я его обидел, – думал я, а потом закончил свою мысль: – Ну и черт с ним». Он не встретился с М., которая через несколько минут, в халате по фигуре и шапочке, вошла в палату и села рядом, готовясь взять на руки вторую дочку. Вероятно, лицо у меня было такое, что она спросила, хорошо ли я себя чувствую. Я уж было собрался рассказать ей все – про Бенавидеса и его отца, про Карбальо и про хребет Гайтана, – но не смог. «Все нормально», – ответил я. «Не верю тебе, – сказала М., руководствуясь своим безошибочным инстинктом. – Что-то случилось». И я ответил, что, мол, да, случилось, но мы поговорим об этом в другой раз, когда выйдем отсюда, потому что мне неловко говорить с ребенком на руках: мой голос и мое дыхание могут повредить ей и разбудить ее, а она спит так мирно и сладко – настоящим сном младенца. Все это не соответствовало действительности, но я был не в состоянии иначе объяснить, по каким причинам не могу рассказать все сейчас. Никогда не приходят к нам вовремя те немногие кусочки того, что мы знаем о самих себе; мне вот, например, потребовалось несколько дней, чтобы понять абсолютную, непреложную правоту М., которая, выслушав мой, столь же пространственный, сколь и покаянный, рассказ о столкновении с Бенавидесом, произнесла такие вот простые слова: «Просто ты не хочешь, чтобы к нашим дочкам приближались грязные люди».

Я хотел возразить, что подобное определение неприменимо к доктору Бенавидесу, с самого начала показавшемуся мне человеком кристальной честности, просто чистейшим из всех, кого мне доводилось знать, но тут же понял, что она имела в виду не моральные качества Франсиско Бенавидеса, а то обстоятельство, что он, как улитка – свой домик, всегда носит с собой наследие своего отца. Иными словами – слишком трудно отвлечься от мысли, что та же самая рука, которая разглаживала кусочек пластыря на скуле моей дочери, когда-то в прошлом

держала позвонок застреленного на улице человека, да не какого попало, а того, чье преступление поныне живет среди нас, колумбийцев, и таинственными путями подпитывает бесчисленные войны, на которых мы и пятьдесят семь лет спустя продолжаем убивать друг друга. Я спросил себя – не случилось ли так, что в моей жизни приоткрылась дверь, и в нее проникли чудовища насилия, способные разработать стратегию и измыслить уловки, чтобы войти в наши дома, в наши квартиры, в кровати наших детей. Помню, я подозревал, что никто никогда не может считать себя в безопасности, и еще помню, как с тем тайным волнением, какое всегда присуще обетам без свидетелей, поклялся себе, что мои дочери – смогут. Я твердил себе это ежедневно, я навещал своих дочек, когда они жили уже в доме моих тестя и тещи – в холодном особняке, терраса которого выходила на эвкалиптовую рощу, поочередно вынимал их, спящих, из кувез и поочередно прижимал к груди, а меж тем добавлял страницу к моему роману о Джозефе Конраде в Панаме. (Ту, например, где говорилось о дочери рассказчика, которая родилась на шестом с половиной месяце беременности и была так мала, что ее можно было накрыть ладонями, так бесплотна, что можно было увидеть изгиб ее бедренных и берцовых костей, так бессильна, что даже не могла сосать материнскую грудь.) И однажды вечером, когда М. пыталась стимулировать сосательный рефлекс дочек, вкладывая им в рот костяшку правого мизинца, я вдруг понял, что думаю не о них, а о Фернандо Бенавидесе, не о материнском молоке, которое надо им дать, чтобы ночью мы могли сомкнуть глаза – а о рентгенограмме грудной клетки с пулей внутри, не об уколе в крохотную пятку и не об анализах крови – а о светящемся в формалине фрагменте позвоночника.

– У тебя это скоро станет просто манией, – однажды упрекнула меня М. – Я вижу по твоему лицу...

– Что ты видишь?

– Не знаю. Но хотела бы, чтобы это не происходило с тобой сейчас. Все очень изнурительно... я измучена, ты измучен. И я хотела бы, чтобы мне не пришлось вытягивать их в одиночку. Я говорю о девочках. Не знаю, что с тобой происходит, но хочу, чтобы ты оставался здесь, со мной, и чтобы мы все делали вместе.

– Мы вместе все и делаем.

– Но что-то же с тобой происходит?

– Ничего со мной не происходит, – сказал я. – Ровным счетом ничего.

### III. Раненый зверь

Карбальо вновь появился в моей жизни в конце ноября. Мои дочери уже покинули кувезы и спали с нами, в той самой квартире, где до замужества М. жила вместе с родителями: мы укладывали девочек в манеж со съёмным бортиком, где умещались обе; каждая была подключена к собственному кислородному баллону, глядевшему на нее снаружи, будто молчаливый родственник, и у каждой была собственная пластиковая канюля, закрывавшая верхнюю губу. 21 числа, где-то около шести, когда в самом разгаре была процедура смены пеленок, мне позволила приятельница и сообщила новость: сегодня утром скончался Рафаэль Умберто Морено-Дюран, один из самых известных романистов своего поколения и с недавних пор – мой друг. «Его больше нет с нами», – сказала она, выделив голосом это покорствующее судьбе «нет», и назвала время отпевания и точный адрес церкви, где оно должно состояться. И на следующее утро я был там, вместе с родными и друзьями Эр-У (как все мы называли его) испытывая разом и скорбь и облегчение, потому что болезнь его была недолгой, но тяжелой и мучительной, хоть он и переносил ее с юмором и с тем, что иначе как «мужеством» не назовешь.

Мы познакомились, когда я учился на юридическом факультете, но при этом в точности, как он за тридцать лет до этого, преследовал одну цель – научиться писать романы: и мы – сам не знаю, как это вышло – подружились; он приезжал ко мне в Барселону, где прошли счастливые начальные двенадцать лет его жизни, я, при возможности, – к нему в Боготу, где мы иногда вместе обедали, а иногда вместе ходили забирать корреспонденцию «до востребования». Со временем это превратилось если не в ритуал, то в рутину – дойти до здания «Авианки», войти в зал, где стояли несгораемые абонентские ящики, и выйти оттуда с грузом писем и журналов. Во время одного из таких походов он сообщил мне, что болен. Рассказал, как однажды вечером поднимался по лестнице – и вдруг задохнулся, в глазах потемнело (мир вдруг обратился в черное пятно), и там же, на твердых ступеньках кирпичного цвета, едва не рухнул без чувств. Врачи, не замедлившие определить у него анемию, а вскоре – и причину ее: злокачественную опухоль, давно уже таившуюся в пищеводе, – подвергли его разнообразному лечению, которое начисто отбило у него аппетит. «Чужой», – называл он свой недуг. «Во мне *чужой*», – объяснял он тем, кто спрашивал, почему он так резко похудел. А когда бывал особенно не в духе или раздражительнее обычного – «Просто сегодня мой *чужой* не желает уняться». И вот, через год с небольшим после того, как поставили диагноз, мой друг проиграл сражение с этой тварью, не уважающей достоинства противника и не признающей перемирий.

И вот мы, его приятели и друзья, входим в просторный неф, ищем свободное место на деревянных скамьях, продвигаясь меж четырех белых стен, здороваемся вполголоса, как принято при встрече по такому печальному поводу, но прежде всего – умираем от холода, потому что офисные здания вокруг церкви вступили в заговор с густыми эвкалиптами и не пропускают сюда даже самый слабенький солнечный луч. Да, здесь все мы – те, кто любил Эрре-Аче <sup>27</sup>, те, кто уважал его, те, кто не любил и не уважал, но, по собственному признанию, обожал его книги, те, кто обожал его книги, но из зависти не признавался в этом даже самому себе, те, кто иногда становился мишенью его острот или прямых нападок, и теперь пришел в горестном молчании порадоваться, что покойник никогда больше не ткнет его носом в его заурядность. Мало где еще так высока концентрация лицемерия, как на похоронах писателя: здесь, в церкви, у смертного одра, непременно найдется кто-нибудь, кто посвятит себя старинному искусству притворства и будет разыгрывать печаль, или скорбь, или отчаяние, меж тем как про себя думает, что ни Эрре-Аче, ни книги его больше не задвинут самого скорбящего в тень.

<sup>27</sup> Испанские названия букв «R» и «H».

Устраиваясь на своем месте у бокового прохода центральной скамьи (не так близко к гробу, чтобы это выглядело назойливо, не так далеко, чтобы показаться просто любопытным), я припоминал, когда же последний раз присутствовал на религиозном прощании с человеком, чуждым религии. Пришел ли Эрре-Аче к Богу перед концом, как случилось со многими агностиками? Подобные душевные метаморфозы обычно недоступны взору даже самых близких, и потому я ничего не мог бы сказать по существу вопроса, но когда-нибудь я изучу статистику и выясню, сколько блудных сыновей и дочерей церкви рак вернул в ее лоно (сразу уточню – это именно тот случай, когда нельзя сказать, будто справедливо и обратное: лично мне не знаком ни один диагноз, который привел бы верующего к отступничеству). Когда священник начал говорить, я обратил внимание на человека, который сидел впереди, тоже у центрального прохода, и, как руководитель избирательной кампании – красноречию своего кандидата, одобрительно кивал в конце каждой фразы, доносившейся из динамиков. Но тут присутствующие зашушукались, зашевелились, стали перешептываться, повернули головы к амвону, куда, получив разрешающий кивок падре, направилась супруга покойного, Моника Сармьенто. Она опустила стойку микрофона по своему росту, сняла темные очки, провела рукой по усталым глазам и с силой, идущей из каких-то непостижимых глубин ее скорби, объявила, что прочтет письмо Эрре-Аче, оставленное Алехандро.

– Кто такой Алехандро? – спросил кто-то рядом со мной.

– Не знаю, – ответили ему. – Сын, наверно.

– Дорогой Алехандро, – начала Моника в наступившей тишине. – Весьма возможно, что тебе, только что отпраздновавшему свой одиннадцатый день рождения, будет непонятно, почему я написал это письмо. Я сделал это предосторожности ради. Объясню – рано или поздно у каждого сына начинается “синдром Кафки”, то есть возникает потребность написать отцу письмо с упреками в произволе, в эгоизме, в отсутствии понимания и терпимости. Ибо всякий сын в определенном возрасте чувствует себя венцом творения и просит у отца только внимания и любви, а не получив их, платит той же монетой – неприязнью, неповиновением, враждебностью или, как в случае с Кафкой, мстительными жестокими словами. А я своим письмом всего лишь хочу заранее отвести от себя эту беду. Я только сейчас во всей полноте осознал смысл того, что прочел много лет назад. И никогда не забуду первые строки из эссе лорда-канцлера Фрэнсиса Бэкона – моралиста столь мудрого, что неизменно поступал вопреки тому, что предрекал: “Тот, кто женится и заводит детей, отдает их в заложники судьбе”. А я думаю, дорогой Алехандро, что теперь сам стал заложником судьбы, то есть удачи и счастливого случая, сводящего людей друг с другом, и мне хочется совсем не того, чего хотелось в годы моих странствий по миру, когда ничто не ограничивало мою свободу и когда этот бескрайний мир открывал мне множество путей. Я был уверен, что вечно останусь молодым и неприрученным, что – клянусь тебе – жизнь начинается в восемнадцать лет, а все, что не достигло этого возраста, принадлежит к классу простейших, к царству одноклеточных. Дети были для меня одиннадцатой казнью египетской – причем до такой степени, что мои инициалы – Эрре-Аче – превратились едва ли не в детоубийственную монограмму: Rex Herodes – Царь Ирод. Так продолжалось до тех пор, пока на свет не появился ты, тогда в изречении лорда Бэкона мне открылся неожиданный смысл: с твоим рождением в заложники судьбы превратился я сам».

Люди в церкви заулыбались, а я подумал: «Как это похоже на Эрре-Аче! Превратить печальное событие в повод для юмора, для словесной игры, для остроумия, разбивающего вдребезги постную торжественность». И вспомнил о своих дочках – а сам я тоже стал заложником фортуны? Устами Моника Эрре-Аче говорил теперь о рождении сына или, точнее, рассказывал сыну о его рождении и, делая уступку неизбежному дурновкусию, свойственному всякому родителю, вспоминал забавные случаи и умилительные эпизоды, обязательные для отцов, которые повествуют о детях, отчетливо сознавая при этом, что для всех остальных милоты в этих милых байках может и не быть. Вот, например, мексиканские друзья подарили Алехандро

тряпичного Пегаса. Мальчик спросил, откуда у коня крылья, и Эрре-Аче объяснил, что Пегас родился из крови медузы Горгоны, у которой вместо волос были змеи, вгонявшие в столбняк ее жертв. «Не смейся меня, папа», – ответил на это Алехандро. «В виде слабого утешения этой смехотворности, – голосом Моника продолжал Эрре-Аче, – я в тот же миг понял, что у тебя врожденный иммунитет к магическому реализму».

По скамьям прокатился хохот.

– К чему? – переспросил еще кто-то в моем ряду.

– Тихо! Дайте послушать, – шикнули на него.

«Почему я вспоминаю об этом? – читала Моника. – Потому что отец, как зрелая сложившаяся личность, хочет остаться в памяти сына, для которого в детстве все эфемерно, все незначительно, словно ребенок интуитивно чувствует, что все, прожитое им до сих пор, очень малоценно, а важно лишь то, где он будет играть главную роль. Для детей детства не существует, но зато для взрослых оно – тот потерянный, однажды утраченный край, куда мы тщетно пытаемся вернуться, населяя его смутными или вовсе вымышленными воспоминаниями, которые обычно – лишь тени снов. И потому нам так хочется превратиться в своего рода нотариусов, удостоверяющих хотя бы истинность воспоминаний ребенка: они вскоре изгладятся из его памяти, однако для отца останутся лучшим доказательством того, что он произвел на свет потомство. Как позабыть рацеи маленького философа, которыми ребенок, сам того не предполагая, старается ввести в систему собственных воззрений мир, начинающий принадлежать ему? Однажды вечером мы с тобой смотрели телевизор в ожидании выпуска новостей. На экране шел прямой репортаж с карнавала в Рио-де-Жанейро: показывали его финальные – и самые горячие – моменты. Удобно устроившись на диване, ты впивался взглядом в это разливанное море аппетитной смуглой плоти. Тебе было пять лет, а я, не сумев сдержаться, сказал тебе, как один мышинный жеребчик другому: “Что ни говори, Алехандро, а женщины все же – великолепные создания”. А ты, не отрываясь от экрана, тоном знатока, поднаторевшего в этом вопросе, ответил: “Да, папа. И еще они дают молоко”».

На этот раз захохотали все, кто был в церкви. Собравшиеся смеялись от души, но при этом чувствовали себя неловко – позволительно ли такое, словно спрашивали они. А Эрре-Аче, где бы ни находился он – в прошлом ли или в небытии, – скорее всего, получал истинное наслаждение от того, что вызвал такой безобидный разлад.

«Дорогой Алехандро, – продолжала читать Моника, – я жалею разве лишь о том, что вовремя не сказал своему отцу, как люблю его и как восхищаюсь им. Я только однажды выказал нежность – за два дня до кончины быстро поцеловал его в лоб. Поцелуй этот на вкус отдавал сахаром, а я почувствовал себя вором, укравшим то, что уже никому не принадлежит. Почему мы скрываем наши чувства? Из трусости? Из эгоизма? С матерями мы ведем себя иначе – осыпаем их цветами, подарками, нежными словами. Что же мешает нам приласкаться к отцу и сказать ему – глаза в глаза, – как любим его, как восхищаемся им? Но зато как охотно мы про себя или втихомолку браним его, стоит ему поставить нас на место. Почему при всяком удобном случае ведем себя так низко? Почему не боимся грубости и робеем проявить нежность? Почему слова, которые я никогда не говорил своему отцу, я обращаю к тебе, хотя ты в силу своего нежного возраста еще ничего не понимаешь? Однажды ночью я хотел поговорить с отцом, но он уже спал. А когда я на цыпочках выходил из спальни, услышал, как он с отчаянием бормочет во сне: “Нет, папа, нет!” В каком странном, суматошном сне явился ему его отец? И вот еще что привлекло мое внимание, помимо этой загадки: отцу было в ту пору семьдесят восемь лет, а его отец умер не меньше четверти века назад. Неужели надо умереть, чтобы сын поговорил с тобой?»

Тем временем пошел мелкий дождь. Нет, неправильно – капли его были не мелкие, а крупные, тяжелые, но падали редко. Снаружи до нас доносился их осторожный перестук о крыши припаркованных у церкви машин, и трудно стало различать голос Моника. Я, как это

мне свойственно, отвлекся, задумался о другом; и уже во второй раз спросил себя, неужели и я после рождения дочек сделался заложником судьбы – не находя ответа и не зная даже, где его искать. Как сложатся наши отношения в будущем, когда они вырастут? Как вообще складываются они у отца с дочерьми? Наверняка не так, как у мужчин – у отца с сыном – разных поколений. Но если бы у меня были сыновья, – спросил я себя, – я столкнулся бы с теми же трудностями, разве не так? Стали бы мои сыновья скрывать от меня свои чувства? Реагировать резко и неприязненно, а не ласково? Но почему бы не предположить, что и с дочерьми отношения будут напряженными и мы с трудом будем понимать друг друга? Мне всю жизнь легче было иметь дело с женщинами, чем с мужчинами, оттого, наверно, что присущие мужчинам дух товарищества и круговая порука всегда казались мне смешны. А найду ли я общий язык с дочками?.. Тут я увидел, что Моника, судя по всему, произносит последние слова, складывает листки и спускается в толпу мужчин и женщин, встречающих ее с распростертыми объятиями. Но без рукоплесканий, потому что публика сдержала свой естественный порыв захлопать. Прочитанное письмо Эрре-Аче нарушило чинный распорядок зауспокойной мессы, и причетники были слегка сбиты с толку – впрочем, в хорошем смысле слова, и по лицам их видно было, что они довольны тем, что не вполне понимают, как себя вести, что пришли исполнить всем известные ритуалы, а оказались на зыбкой почве, что смеялись, что не аплодировали, но хотели бы и, быть может, думали о своих сыновьях или дочерях, как я – о своих.

Не знаю, что еще случилось на этой мессе. Не помню ни причастия, которое не принял, ни «приветствия мира»<sup>28</sup>, которое по рассеянности никому от меня не досталось. Гроб с телом Эрре-Аче двигался мимо меня, и я ждал, когда он скроется, а потом меня захлестнул поток скорбящих и шумное безмолвие, с которым он надвигался. Я не мог отвести глаз от гроба, а гроб, покачиваясь вверх-вниз в такт шагам тех, кто нес его, неуклонно уплывал в прямоугольник света в больших дверях церкви. Стоя сзади, я видел, как он оказался на свежем воздухе полудня и по ступеням стал спускаться к катафалку с разинутой, как пасть, задней дверцей. С верхней ступени я молча наблюдал за водителем, закрывшим дверцу, а потом увидел золотые буквы на пурпурной ленте, складывающиеся в имя, которое столько раз видел на корешках и переплетах книг, в заголовках газетных интервью, в подписях под статьями. Когда, интересно, Рафаэль Умберто решил стать Эрре-Аче? Первое издание его первого романа «Игра в шашки» вышло в 1977 году, неся на корешке и титуле его полное имя, фигурировавшее и в дарственной надписи, сделанной двадцать лет спустя, за обедом в ресторане «Ла Романа», где нам подали пасту с чересчур обильной подливкой. Так когда же он решил превратить имя и фамилию в условный знак, словно загодя озаботившись, чтобы оно легко уместилось на пурпурной ленте по борту катафалка? Церковь постепенно опустела, люди, несшие гроб, пошли на парковку к своим автомобилям, и вскоре те тронулись вереницей, а мы, оставшись на верхней ступеньке паперти, глядели вслед кортежу, удалявшемуся с пугающей слаженностью. Нас было совсем немного – помнится мне, человек шесть-семь, – когда полило сильней. Я уже готовился сбежать с паперти, пересечь парк и на 11-й каррере ловить такси, пока хляби не разверзлись окончательно, но в этот миг почувствовал на плече чью-то тяжелую руку и, обернувшись, увидел Карбальо.

Да, это был он. Тот самый человек, что привлек мое внимание перед тем, как с амвона прозвучало письмо Эрре-Аче сыну. Как я сразу его не узнал? Что изменилось в его наружности? Я не мог определить, но чувствовал необоримую уверенность, что он-то узнал меня мгновенно. Более того – он знал или думал, что знает о моем присутствии на отпевании, и наблюдал за мной издали, следил как соглядатай, а потом, притаившись где-то рядом, нескромно прислушивался к моим незначущим разговорам и ждал подходящего момента, чтобы изобразить

<sup>28</sup> «Приветствие мира» – прошение Церкви о мире и единстве для нее самой и для всего человечества, а также проявление прихожанами общинного духа и христианской любви между ними непосредственно перед принятием Святых Даров.

зять внезапную встречу. И безошибочным инстинктом хищника уловил, когда лучше всего будет напасть на добычу. Недаром же Бенавидес сказал о нем: «Он – как ищейка». – И добавил: «А вы – след».

А теперь уж и я подумал: «Я – след. Он – ищейка. Я стану его добычей».

– Вот чудеса! – сказал он. – Вот уж не ожидал вас тут встретить.

У меня не было ни малейших сомнений в том, что он лжет. Но с какой целью? Знать невозможно, а вопрос, который разрешил бы мои сомнения, мне в голову не приходил. Как и вообще ничего, кроме решения последовать его примеру и тоже соврать. (Это едва ли не лучший выход из положения: ложь годится для чего угодно, она податлива и пластична, послушна, как ребенок, делает, что ни попросишь, неизменно готова к услугам, не претенциозна, не себялюбива и ничего не требует взамен. Без нее мы бы и секунды не прожили в социальных джунглях.) И я спросил:

– Вы тоже были на мессе? Не видел вас. Где вы притаились?

– Я рано пришел. – Он помотал рукой в воздухе. – Сидел вон там, в первых рядах.

– Не знал, что вы были знакомы с Эрре-Аче.

– Знаком – и очень близко.

– Да что вы говорите?

– Это и говорю. Знаете, дружба из разряда кратких, но очень плодотворных. Но, может быть, пройдем внутрь? Начинается настоящий ливень.

И в самом деле. Полдень потемнел, и на церковь обрушился дождь: толстые струи пошли хлестать по каменным ступеням, собирались лужами, а уж оттуда брызгами летели нам на башмаки, носки, обшлага брюк. Если останемся здесь, подумал я, вымокнем до нитки. И мы решили шагнуть за порог церкви и уселись на скамью в последнем ряду, вдвоем в пустом нефе, так далеко от алтаря, что не различали Христов лик. Это позабавило меня кинематографичностью – в фильмах так собираются на тайную сходку какие-нибудь итальянские мафиози. Карбальо занял место в середине длинной деревянной скамьи, я примостился как можно ближе к проходу. Гулкое эхо искажало наши голоса, и без того заглушаемые шумом ливня снаружи, и спустя какое-то время оба мы осознали, что машинально придвигаемся друг к другу, чтобы говорить и слышать, не напрягаясь. Я отметил, что на переносице у Карбальо – пластырь. Я посчитал, сколько времени прошло со дня нашей стычки в доме Бенавидеса, и подумал, что ни одна носовая перегородка в мире не будет кровоточить два месяца кряду.

– Как ваш нос?

Карбальо поднял руку, но до лица не донес.

– Зла на вас не держу, – сказал он.

– Но пластырь все еще нужен?

– Для того я вас и окликнул, – продолжал он, будто не слыша меня. – Чтобы делом, как говорится, доказать, что обиды не затаил и зла не помню. Хотя обошлось мне это недешево: помимо прочего, я потратился на обезболивающие. И сколько-то времени был нетрудоспособен.

– О-о, пришлите мне счета, и я...

– Нет, об этом и речи быть не может, – оборвал он. – Не оскорбляйте меня, пожалуйста.

– Простите, просто я подумал, что...

– Я не затем пришел проводить друга в последний путь, чтобы содрать с вас деньги за пару упаковок обезболивающего.

Карбальо был обижен и, кажется, непритворно. Кто же он такой? Каждое произнесенное им слово только сильнее отталкивало меня – отталкивало, но и интриговало. Не без толики невольного цинизма я подумал, что пластырь на переносице – часть продуманного и очень притом незамысловатого образа и, вероятно, помогает ему добиться своего. Чего – своего? Тут воображение мне отказывало. Карбальо меж тем заговорил об Эрре-Аче: о том, как горюет по

этой утрате, хотя ее и нельзя назвать внезапной, потому что болезнь эта – такая сволочь, простите, и именно потому сволочь, что предупреждает, чем обернется. Как бы мало ни длилась, как бы молниеносно ни сражала, всегда придется провести с ней несколько месяцев, получая от нее весточки. В этом – ее особая жестокость. В случае с Эрре-Аче, надо признать, она вконец остервенилась, как, впрочем, и всегда по отношению к лучшим. Да, тут мы решительно бессильны: если уж выпал тебе такой жребий, ничего не попишешь... О господи, опять, подумал я, опять, как и в первую нашу встречу, слышу я эту неразборчивую мешанину из общих мест и парадоксальных суждений. «Кончина Эрре-Аче – огромная потеря для нашей словесности, – сказал он. И, немного помолчав, добавил: – Такие, как Морено-Дюран, не каждый день рождаются».

– Вот это верно, – сказал я.

– Не правда ли? Об этом надо говорить во всеуслышание! Взять хоть «Коты канцлера» – какой прекрасный роман! А «Мамбру»?! Чудо! Вы, кажется, резюмировали их, да?

– Что? – переспросил я.

– То есть рецензировали! Для журнала «Республиканский Банк». Отличная рецензия. Я хочу сказать – такая позитивная... Хоть и коротковата, на мой вкус.

Моя рецензия на «Мамбру» появилась в 1997 году. В ту пору сочинение ежеквартальных обзоров для «Болетин культураль» и «Библиографико дель Банко де ла Республика» стали для меня основным источником дохода. «Болетин» заслуживает самых лестных слов, но рассчитан он был не на широкую публику: его читали в академических кругах, посетители библиотек или маниакальные книгочеи. Неужели Карбальо рылся в моем прошлом? Как он вообще узнал про меня – и зачем узнавал? Неужели, как сказал Бенавидес, этот интерес пробудило в нем мое родство с Хосе Марией Вильярелем, важным свидетелем событий 9 апреля? Хотя не исключено, что Карбальо – именно тот, чем кажется, а кажется он интеллигентом, у которого слишком много свободного времени и навязчивая идея... а литературные вкусы совпадают с моими: именно те два романа, выделенные им из обширного наследия Эрре-Аче Морено-Дюрана, выбрал бы я сам. Сейчас Карбальо пустился расточать ему неумеренные похвалы: «А что вы скажете о его первых фразах? Какие начала! “Арабы называли тальк словом, обозначающим испарину невесты”. Это из “Рыцаря Непобедимой”. “Когда мы с тобой занимаемся любовью, смерть выигрывает партию в шахматы у Рыцаря Седьмой Печати”. Какие начала, Васкес, ах, какие начала! После такого хватаешь книжку и уже не можешь оторваться. По крайней мере я – человек, желающий, чтобы ему рассказали искусно сплетенную историю. Я, так сказать, – читатель-гедонист». И так вот он говорил, перемежая банальности с неожиданно глубокими и тонкими наблюдениями, которые казались взятыми напрокат у других, и вдруг произнес нечто такое, что среди всей этой словесной шелухи заблестало огнем на ночной горной вершине.

– Погодите... – перебил я. – Повторите, пожалуйста, то, что вы сейчас сказали.

– Это был писатель, способный закодировать важное послание. Способный между строк говорить о самых трудных вопросах своей страны. Он был настоящий мастер аллюзии.

– Нет, не это. Вы сейчас говорили о том, что ему еще оставалось написать.

– А-а, да, – сказал Карбальо. – Я кое-что об этом знаю, и мне кажется, что и вы тоже, хоть и меньше, чем я. Но, как бы то ни было, всем этим я обязан вам. Кесарю – кесарево. Если бы не та беседа, Эрре-Аче никогда бы так не обогатил мою жизнь... Хотя сейчас уже ничего от этого не осталось.

– Какая беседа?

– Вы и вправду не знаете? – преувеличенно удивился он.

«Артист! Комедиант! – подумал я. – Ни единому его слову верить нельзя».

– Впечатление такое, что вам все надо разжевывать. Беседа, Васкес, была о новом журнале. «Современный роман и другие болезни» – так, кажется, он назывался?

Да, именно так он и назывался. Карбальо – просто шкатулка с сюрпризами. В августе прошлого года Мойсес Мело, главный редактор недавно возникшего журнала «Сноска», пригласил нас к себе домой, чтобы обсудить происходившее с Эрре-Аче с тех пор, как ему поставили диагноз – а именно его болезнь и страдания, – с точки зрения литературы. Разговор длился два часа и от всех других наших встреч отличался только отсутствием виски, присутствием диктофона и последующей редактурой, придавшей нашим словам стройность, связность и последовательность, которых они порою были лишены. Номер вышел в декабре, между Рождеством и Новым годом, а Карбальо, изучавший какие-то документы в библиотеке имени Луиса Анхеля Аранго, по чистой случайности обнаружил экземпляр на столике кафетерия. «Я чуть не свалился со стула. В этом интервью было все, что я искал».

– И что же вы искали? – осведомился я.

– Человека с незашоренным умом. Человека, умеющего слушать. Человека, свободного от предрассудков и способного разорвать смирительную рубашку официальных версий.

– Да что-то я не помню, чтобы мы говорили о смирительных рубашках, – сказал я.

– Не помните? Жаль. Но надеюсь, помните хоть про Орсона Уэллса?

Это я помнил, хоть и смутно. Зато теперь, десятилетие спустя, когда я пишу воспоминания, передо мной лежит первый номер «Сноски», и я могу отыскать там в беседе с Морено-Дюраном (помещенной между статьей о Грэме Грине и репортажем с Франкфуртской книжной ярмарки) его точные высказывания и бережно воспроизвести их в этом повествовании, малопомалу приобретающем черты следственного дела. Эрре-Аче – в черном костюме и сорочке лилового оттенка – рассказывал о своем новом, только что оконченном романе. История возникла из рассказа «Первое лицо единственного числа» о поездке Орсона Уэллса в Колумбию в августе 1942 года – поездке довольно своеобразной, поскольку в реальности ее не было. После успеха «Гражданина Кейна», – объяснял мне Эрре-Аче, – Уэллс обрел мировую славу и стал фигурой международного масштаба. Государственный департамент США и киностудия «Радио-Кейт-Орфей» решили послать его в Латинскую Америку для съемок документального фильма, используя престиж режиссера как способ объединить обе Америки в борьбе против стран Оси. Далее в интервью говорится:

В(аскес): Может быть, хотели избавиться от него на некоторое время. Под давлением Уильям Рэндольфа Херста, медиамагната, выведенного в «Гражданине Кейне».

Эрре-Аче: Подозреваю, что Орсон Уэллс на самом деле уехал, чтобы отделаться от Риты Хейуорт, преследовавшей его довольно настойчиво. И отправился снимать документальный фильм в Бразилию, где и провел без перерывов шесть месяцев. Потом – в Буэнос-Айрес, на премьеру своего «Гражданина» (под таким названием картина шла в аргентинском прокате). Побеседовал с Борхесом. В результате тот написал прелестную заметку в газету «Сур». Потом приехал в Чили и уже в самом конце своего турне – в Лиму, где 12 августа информационные агентства взяли у него прощальное интервью. Его спросили: «Что вы намерены делать сейчас? Полетите в Лос-Анджелес?» «Нет, – сказал он. – Завтра я лечу в Боготу». Его спросили «зачем?», а он в ответ – мол, у него в Колумбии близкие друзья, и он любит быков, а Колумбия – страна быков. И дальше выдал целую гирлянду расхожих представлений о нашей стране. На следующий день, 13 августа, газета «Тьемпо» на первой полосе оповестила свет, что Орсон Уэллс прилетает в Боготу, и эту новость воспроизвели «Эспектадор» и «Сигло». Однако Орсон Уэллс в Боготу так и не прибыл.

nate mediático representado y destruido en *Ciudadano Kane*...

**RH:** Sospecho que Welles vino, en el fondo, huyéndole a Rita Hayworth, que era bastante "intensa". En realidad, vino a hacer el documental y permaneció en el Brasil, ininterrumpidamente, por siete meses. Luego fue a Buenos Aires, habló con Borges, para el estreno de *El Ciudadano*, que así se llamó su película en Argentina. De ahí surgió la bellísima nota que Borges escribió en *Sur*. Luego fue a Chile, y ya de despedida llegó a Lima, y el 12 de agosto las agencias de prensa le hicieron la última entrevista y le preguntaron: *¿Y qué va a hacer a partir de ahora, viaja a Los Ángeles?* Dijo: *No, mañana viajo a Bogotá, Colombia*. Le preguntaron por qué, y contestó: *Tengo grandes amigos en Colombia, me encantan los toros, Colombia es un país de toros y soltó todo un rosario de tópicos sobre nuestro país*. Al día siguiente, agosto 13, en la primera página de *El Tiempo* se lee: **ORSON WELLES LLEGA A BOGOTÁ**, y los mismos titulares reproducen *El Espectador* y *El Siglo*. Pero Orson Welles no llegó nunca a Bogotá. Ese capítulo forma parte de una

novela que se llama *El hombre que soñaba películas en blanco y negro*, que cuenta lo que le ocurrió a Welles en Bogotá los días 13, 14 y 15 de agosto, ocho días exactos después que Eduardo Santos entregara el poder y lo asumiera por segunda vez Alfonso López Pumarejo. Esto tiene una importancia política que nadie recuerda, y es que Laureano Gómez, en una entrevista que tuvo con el embajador norteamericano, le dijo que si Alfonso López se posesionaba, él daría un golpe de estado con la ayuda de sus amigos del Eje. La cuestión es que Orson Welles llega a Bogotá, una ciudad convertida en un nido de espías, corresponsales de guerra, y con el agravante de que en ese momento el país estaba completamente conmovido, dolido y rencoroso por el hundimiento de varias fragatas colombianas en el Caribe. En ese ambiente Orson Welles sufre una serie de peripecias impresionantes. Es una novela larga, de unas cuatrocientas y pico de páginas, donde reconstruye un determinado momento histórico colombiano. De alguna forma constituye un díptico con *Los felinos del Canciller*.

В опубликованной беседе не оказалось заданного мной вопроса: «Почему же, Эрре-Аче? Почему Орсон Уэллс не прилетел в Боготу?» И, само собой, текст не мог бы передать плутовское выражение, которое вдруг мелькнуло на его лице, неожиданно сообщив ему что-то детское и заставив позабыть, что это лицо умирающего от рака. «Не скажу, даже не мечтай! – сказал он. – Придется тебе прочесть весь роман». В журнале же напечатали вот что:

Э.-А.: Роман называется «Человек, видевший черно-белые сны» и рассказывает о том, что случилось с Орсоном Уэллсом 13, 14 и 15 августа, ровно через восемь дней после того, как Эдуардо Сантос<sup>29</sup> передал власть Альфонсо Лопесу Пумарехо<sup>30</sup>, и тот во второй раз стал главой государства. Это событие имело большое политическое значение, о котором теперь никто не помнит, и Laureano Gómez<sup>31</sup> в беседе с послом США предупредил его, что если Альфонсо Лопес возьмет власть, то он, Гомес, с помощью своих друзей из стран Оси совершит государственный переворот. Но дело в том, что Орсон Уэллс оказывается в Боготе, в городе, ставшем гнездом шпионов и военных корреспондентов, в столице страны, пребывающей в скорби, тоске

<sup>29</sup> Эдуардо Сантос Монтехо (1888–1974) – колумбийский журналист, адвокат и политик, президент Колумбии с 1938-го по 1942 год.

<sup>30</sup> Альфонсо Лопес Пумарехо (1886–1959) – колумбийский бизнесмен и политик, дважды (в 1934—1938-м и 1942–1945 годах) президент Колумбии.

<sup>31</sup> Laureano Eleuterio Gómez Castro (1889–1965) – колумбийский политик, журналист и инженер. Президент Колумбии с 1950-го по 1951 год. Один из наиболее радикальных лидеров консервативной партии, сторонник нацизма и франкизма.

и злобе из-за гибели нескольких колумбийских кораблей на Карибах. И вот в такой обстановке Орсон Уэллс переживает череду бурных событий.

В.: Это очередной виток во взаимоотношениях истории и беллетристики. Роман становится мощным средством исторического размышления.

Э.-А.: Не думаю, что роман пытается покорять и осваивать новые пространства, скорее, он подтверждает, что все это и так принадлежат ему. Довольно занятный факт: в 1942 году на карнавале в Рио Орсон Уэллс познакомился со Стефаном Цвейгом, и Цвейг рассказал ему об этой чудесной стране, где оказался по приглашению приятеля. В моем романе, когда Орсон Уэллс приезжает в Колумбию, его приглашают на прием, чтобы представить ему цвет общества, и он видит там какого-то молчаливого человека почти двухметрового роста; человека этого все называют Путником, и когда он все-таки открывает рот, то говорит с характерным выговором жителя Минас-Жерайс<sup>32</sup> – в общем, Уэллс немедленно проникается к нему симпатией. Оказывается, Путник этот – не кто иной, как Жоан Гимараэнс Роза<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Минас-Жерайс (Minas Gerais) – штат в Бразилии.

<sup>33</sup> Жоан Гимараэнс Роза (1908–1967) – бразильский врач, дипломат и писатель. Будучи с 1938-го по 1942 год вице-консулом Бразилии в Гамбурге, познакомился с Араси де Карвальо, прозванной «Гамбургским ангелом» за то, что в обход существовавшего в консульстве внутреннего распоряжения выдавала бразильские визы евреям.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.